ДБ
350
С79
Стеклов, Н
А. И. Герцен
М., 1920

Дб
350
С79

Ю. СТЕКЛОВ

923
С-79
Т. 41

А. И. ГЕРЦЕН

(ИСКАНДЕР)

1812—1870

ПОГАШЕНО

Проверено 1937 г.

ПОГАШЕНО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.
МОСКВА—1920.

6-й Экз

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
520711

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

Вторая Государственная типография, Трехпрудный, 9.

А. И. ГЕРЦЕН.

V. IT LEBIÍEH

Памятник на могиле А. И. Герцена
в Ницце.

Памятник на могиле А. N. Герцена
в Ницце.

А. И. ГЕРЦЕН (Искандер).

(1812—1870).

I.

Александр Иванович Герцен родился в Москве 25 марта 1812 года. Его отцом был Иван Алексеевич Яковлев, родовитый и богатый помещик, владевший целым рядом имений, домами в Москве и денежными капиталами. Матерью его была штуттгардская немка Генриетта-Вильгельмина-Луиза Гааг, которую в доме Яковлева называли Луизой Ивановной.

Отец Герцена в молодости служил на военной службе и вышел в отставку с чином капитана гвардии. С 1801 по 1811 год он проживал за границей, откуда и вывез в Россию будущую мать Герцена. Поселившись по возвращении на родину в Москве, Яковлев жил здесь замкнутой жизнью, вечно лечась, над всеми посмеваясь и всех подавляя своей мрачностью и придирчивостью. Чуткий мальчик одиноко рос в этой тяжелой атмосфере барского дома. Дворянская спесь не позволяла Яковлеву жениться на простой немецкой девушке или усыновить прижитого от нее ребенка. Шура оказался „незаконным“ сыном, и ему дана была вымышленная фамилия, Герцена, показывавшая, что он „дитя сердца“ (от немецкого слова „Херц“—сердце).

Оффициально Герцен считался „воспитанником“ Яковлева.

Удушливая обстановка барского дома и двусмысленное положение ребенка с матерью в доме Яковлева не могли остаться без влияния на живого и впечатлительного мальчика. Он начал сближаться с дворовой прислугой, рано позна-

ствовал темные стороны крепостного права и уже в детском сердце начал складываться против них громкий протест.

В детстве он отдан был на попечение двух нянек—русской и немки. Позднее к нему были приглашены учителя—иностранцы. Из них француз Гюшо несомненно оказал на мальчика большое влияние своими рассказами о французской революции. Еще более глубокое влияние имел на мальчика учитель русского языка студент Протопопов, ознакомивший своего ученика с новой русской литературой и в частности с политическими стихотворениями Пушкина и Рылеева, ходившими тогда по рукам.

С другой стороны, предоставленный самому себе, Шура набросился на большую библиотеку своего отца. Здесь он познакомился с просветительной литературой, предшествовавшей французской революции, Вольтером, Бомарше, а также с произведениями Гете и Шиллера.

Начавшееся развиваться в мальчике вольнодумство и революционное настроение нашло себе поддержку во влиянии одного из двоюродных братьев Герцена, Алексея Александровича Яковлева, прозванного родней „химиком“ (он много занимался химией). „Химик“, который был материалистом, пробудил интерес юного Герцена к естественным наукам. Влияние на мальчика имела также его родственница Татьяна Кучина, вышедшая впоследствии замуж за друга Герцена, Вадима Пассека.

Но самое глубокое влияние на молодого Герцена имела его дружба с дальним родственником и сверстником Николаем Платоновичем Огаревым. Еще более глубокий и восторженный Огарев поддерживал в своем товарище революционное настроение. Они вместе зачитывались Шиллером, увлекались его „Разбойниками“, маркизом Позой; клялись пожертвовать своей жизнью в борьбе за свободу и готовились к будущей общественной деятельности.

Юные годы Герцена совпали с оживлением общественного движения в России. Войны с Наполеоном пробудили революционное настроение среди части русского дворянства. Появляются первые произведения Пушкина, „Горе от ума“ Грибоедова, складываются тайные общества. Движение это, как

известно, закончилось восстанием декабристов (14 декабря 1825 года). Трагическая судьба декабристов произвела сильное впечатление на Герцена, и он с Огаревым дали себе слово продолжать дело декабристов и бороться с царским деспотизмом.

В своих воспоминаниях Герцен поэтически рассказал, как он с Огаревым, возвращаясь с прогулки на Воробьевых горах, дали друг другу клятву посвятить свои силы революционной борьбе. „Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас. Постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули в виду всей Москвы пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу".

Эту клятву Герцен и Огарев сдержали до конца.

II.

К семнадцати годам домашнее образование было закончено, и Герцен, после некоторого сопротивления со стороны отца, поступил в Московский университет студентом физико-математического отделения. Несмотря на все недостатки тогдашнего университетского преподавания, скованного тяжелым деспотизмом Николая, университет все же оказал на Герцена огромное влияние. Здесь действовали не столько профессорские лекции, сколько общение с товарищами и усердное самообразование. Кроме того не следует забывать, что идеи декабристов не умерли, и влияние их примера продолжало сказываться в русском обществе. Как впоследствии выразился Герцен, гром пушек на Сенатской площади (в Петербурге) разбудил целое поколение. К этому поколению принадлежал и сам Герцен.

Вокруг Герцена и Огарева, одновременно с ним поступившего в университет, сложился кружок из юношей, проникнутых одинаковыми прогрессивными взглядами и стремившихся вырваться из тесных рамок тогдашней русской жизни. К этому кружку принадлежали Сазонов, Сатин, Савич, Вадим Пассек, а также лекарь Н. Кетчер, переводчик Шекс-

пира, человек более пожилой, но державшийся с молодежью, «вечный студент».

В кружке Герцена и Огарева преобладало политическое направление. Сам Герцен впоследствии охарактеризовал пропаганду, которую вел этот кружок среди окружающих, в следующих выражениях: «Что мы собственно проповедывали, трудно сказать. Идеи были смутные: мы проповедывали декабристов и французскую революцию, потом проповедывали сен-симонизм и ту же революцию, мы проповедывали конституцию и республику, чтение политических книг и сосредоточение их в одном обществе; но пуще всего проповедывали ненависть ко всякому насилию, ко всякому нравственному произволу».

Кружок мечтал о каком-то политическом заговоре в романтическом, Шиллеровском духе, но дальше разговоров дело у них не шло. О существовании кружка сделалось известным вездесущей николаевской полиции, которая после революции 1830 года и польского восстания насторожилась и всюду отыскивала крамолу. В июле 1833 года Герцен окончил университет, а в ночь с 19 на 20 июля 1834 года он был арестован и привлечен к делу о распевании революционных песен на одном собрании молодежи, к которому не имел ровно никакого отношения.

После 9-ти месяцев тюремного заключения обвиняемые были приговорены к различным наказаниям, начиная от бессрочного заточения в Шлиссельбурге до высылки в провинцию. Герцен был приговорен к высылке в Пермь на гражданскую службу под надзором местного начальства.

Надо заметить, что на службу Герцен был зачислен с девяти лет. По тогдашнему обычаю это делалось для выслуги чинов. Отец Герцена хотел, чтобы сын его выслужил дворянство и таким образом получил право владеть поместьями с крепостными крестьянами. К моменту отправления в Пермь Герцен был титулярным советником.

В Перми Герцен пробыл всего несколько дней, а затем был переведен на службу в Вятку, куда прибыл 19 мая 1835 года.

В Вятке Герцен прожил три года. Он там служил в губери-

ском правлении и под конец заведывал губернским статистическим комитетом. Но, конечно, не служба поглощала интересы Герцена. Он много читал, работал, начал писать, и уже здесь для него ясно стало, что призвание его—литература. Знакомство его с ссыльными поляками укрепило его оппозиционное настроение. Вообще же Герцен в то время находился в восторженном состоянии, окрашенном даже религиозным мистицизмом. В этом отношении на него влиял проживавший в вятской ссылке художник-архитектор Витберг. Здесь же Герцен завел переписку с Натальей Александровной Захарьиной, внебрачной дочерью одного из братьев его отца, воспитывавшейся в доме тетки Герцена, княгини Хованской. Переписка эта закончилась тем, что молодые люди убедились в своей горячей взаимной любви.

Вятский губернатор Тюфяев сперва относился к Герцену дружелюбно, но затем у них создались враждебные отношения на почве любовного соперничества (речь шла о жене местного чиновника Медведевой). Тюфяев начал преследовать Герцена и собирался даже услать его в один из самых глухих городков Вятской губернии. Но здесь Герцену пришло на помощь путешествие наследника, разъезжавшего тогда по России и заехавшего в Вятку. Находившиеся в свите наследника Жуковский (известный писатель) и Арсеньев приняли участие в Герцене и уговорили наследника ходатайствовать за него перед отцом. В результате Герцен в конце 1837 г. был переведен на службу во Владимир, куда переехал в начале 1838 года.

Во Владимире Герцен продолжал свою переписку с Н. А. Захарьиной. Так как родные были против их брака, то Герцен с большим риском тайком прискакал в Москву, с помощью Кетчера увез свою невесту и обвенчался с нею во Владимире.

Теперь для Герцена началась полная жизнь дружбы, любви и науки. В это время он находился в состоянии душевной восторженности и романтических порывов. Ссылка и служба угнетали его, он рвался к чему-то широкому и великому. В июле 1839 года Герцен был освобожден от полицейского надзора и получил возможность свободно приезжать в Москву, а в начале 1840 года он выехал из Владимира.

В Москве Герцен встретил некоторых старых друзей, в том числе Кетчера и Огарева, который по смерти отца сделался богатым помещиком и женился, а также много новых людей. Теперь здесь господствовали новые интересы. Еще до герценовской ссылки в Москве существовал, наряду с его кружком, кружок Станкевича, интересовавшийся преимущественно философскими вопросами. Из этого кружка вышли такие крупные деятели сороковых годов, как Белинский, Бакунин и Грановский. К моменту возвращения Герцена в Москву, кружок Станкевича притянул к себе остатки бывшего герценовского кружка и вовлек их в круг своих философских интересов.

В рассматриваемое время кружок был увлечен популярной тогда философией Гегеля. Но русские гегельянцы придавали этой философии слишком узкое толкование, пытаясь с ее помощью оправдать тогдашнее положение дел в России. Этим они отдали дань своей собственной слабости и невозможности активной борьбы с диким николаевским самодержавием. . . .

Герцен был страшно возмущен этим направлением. Он вступил в яростный бой с московскими гегельянцами, среди которых Белинский доходил до особых крайностей. В спорах с ними он убедился в необходимости основательно познакомиться с философией Гегеля и засел за нее. Изучение творений учителя убедило его в том, что его русские последователи неправильно толкуют его систему. Герцен пришел к тому выводу, что философия Гегеля в сущности представляет «алгебру революции», и понял, что если она с одной стороны оправдывает и объясняет существующее, то в такой же мере оправдывает и борьбу с ним. В конце концов Герцен одержал победу, и самые ярые гегельянцы, Бакунин и Белинский, очень скоро пришли к таким же революционным выводам, как и сам Герцен. А затем Герцен познакомился с сочинениями Фейербаха, основателя школы «левых гегельянцев», и с радостью убедился в том, что в свое время правильно истолковал философский метод Гегеля.

В начале 1840 года Герцен был причислен к канцелярии министра внутренних дел. В мае того же года он, проживши два месяца в Москве, переехал в Петербург. Здесь он особенно близко сошелся с Белинским, который уже успел отка-

заться от своих прежних взглядов и сделался ярым революционером. Но в Петербурге Герцену пришлось прожить недолго. В конце 1840 года было перехвачено на почте его письмо к отцу, в котором он рассказал об убийстве полицейским прохожего (случай этот наделал в Петербурге шуму). Третье Отделение снова подняло дело против Герцена и хотело даже вернуть его в вятскую ссылку. Но в конце концов ограничились тем, что послали его советником губернского правления в Новгород, при чем начальник Третьего Отделения, генерал Дубельт, предупредил Герцена, что в третий раз он так легко не отделается.

В Новгород Герцен прибыл 2 июля 1841 года. Началась вторая ссылка Герцена. В губернском правлении Герцену было поручено отделение, где ведались дела о злоупотреблениях помещичьей власти, о раскольниках, о фальшивомонетчиках и о людях, состоящих под полицейским надзором. Здесь Герцен чувствовал себя еще в более ложном положении, чем в Вятке и во Владимире. Ему приходилось прикладывать свою руку к угнетению крепостного крестьянства. Этого вынести он не мог.

Однажды к нему явилась на службу крестьянка, упавшая перед ним на колени и в слезах просившая заступиться за нее. Оказалось, что ее барин сослал ее с мужем на поселение, а их десятилетнего сына оставлял у себя. Тогдашний закон давал помещику такое право. Тщетно женщина валялась в ногах у чиновников, рыдала. Герцен почувствовал, что он больше служить не может. Он уехал домой, написал в тот же день рапорт о своей болезни и с тех пор больше не приезжал в губернское правление. Затем он подал в отставку по болезни. Он получил просимую отставку с чином надворного советника. Вместе с тем ему было сообщено, что въезд в столицы ему воспрещен, и что ему приказано жить в Новгороде.

Но, благодаря хлопотам Огарева, в июле 1842 года Герцену разрешено было жительство в Москве в виду болезни его жены. Герцен уехал в Москву, где продолжал состоять под полицейским надзором. Здесь он жил то в самом городе, то в подмосковных деревнях своего отца.

III.

Теперь для Герцена начинается «та изящная, возмужалая и деятельная полоса... жизни», которая длилась до смерти его отца и до отъезда за границу.

Герцен был теперь в расцвете сил. Ему исполнилось 30 лет. Взгляды его окончательно сложились. Герцен был теперь признанным писателем. В сороковых годах в журналах появляется ряд его произведений: «Диллетантизм в науке», «Письма об изучении природы», «По поводу одной драмы», а также беллетристические произведения: «Записки доктора Крупова», «Сорока-воровка», «Кто виноват?» Впрочем, скоро Герцен пришел к выводу, что беллетристика—не его дело. Он выработал свой особый жанр, представляющий сочетание всех форм литературы—публицистики, беллетристики, философии и проч.,—жанр, в котором он не имеет соперников.

Считаясь с свирепостью николаевской цензуры, Герцен чрезвычайно осторожно проводил свои мысли в своих литературных произведениях. Тем не менее читатели понимали, что автор хочет сказать. Он не пользовался, конечно, таким колоссальным влиянием, как Белинский, но и его литературные работы были популярны среди молодежи и оказывали на нее благотворное влияние. Впрочем, главная сила Герцена была тогда не в литературной, а в устной пропаганде, в его влиянии на руководящие кружки тогдашнего русского общества. Герцен сделался главой так называемых «западников» и одним из главных борцов в полемике со «славянами» или «славянофилами».

И та и другая группа представляли в сущности два буржуазные течения. Русская жизнь того времени шла от крепостного феодализма к развитию капиталистического общества. Западники выражали более чистую буржуазную струю (особенно правое их крыло): это были предшественники наших «кадетов». Славянофилы были представителями течения, пытавшегося сочетать русское барство с развитием капитализма. Они приблизительно предвещали будущую партию октябристов, объединившую после революции 1905 года в своих рядах отечественный капитал с дворянским

землевладением. В учении славянофилов слишком ясно сквозило примирение со старыми силами русского общества, с царским самодержавием и с православной церковью. Демократы на словах, много толковавшие о простом народе, об истинно-русских началах, которые народ в себе сохранил, ожесточенно протестовавшие против европеизации России, начавшейся по их мнению с Петра I, славянофилы были в сущности реакционерами. Герцен сразу это почувствовал. Он вступил с ними в ожесточенную борьбу, но в то же время советовал своим друзьям «овладеть темами славянофилов», чтобы тем вернее их победить.

Основные же темы славянофилов заключались в том, что России предназначен особый путь развития, не имеющий ничего общего с историческим развитием Запада в виду того, что у русского народа имеются в наличности своеобразные формы экономической жизни в лице сельской общины и артели. Поэтому, по мнению славянофилов, Россия не пройдет через капиталистическую фазу развития, а сохранит особую физиономию в экономической и политической жизни. Внизу община, наверху неограниченное самодержавие. Царь правит неограниченно по совести, «земля» (главным образом дворянская) свободно высказывает свое «мнение». Таким путем, по мнению славянофилов, Россия будет предохранена от опасности пролетариата и революции.

Западники, которых наоборот увлекало развитие капитализма и политической свободы в Европе, решительно отвергали эту теорию славянофилов. Но среди самих западников вовсе не было единогласия. Правое их крыло (Грановский, И. С. Тургенев, Кавелин, Анненков, В. Боткин и др.) имело чисто буржуазный, умеренно либеральный характер. Оно сознательно закрывало глаза на ожесточенную классовую борьбу в Западной Европе, а поскольку замечало ее, сочувствовало буржуазному либерализму, а не пролетарскому социализму. Оно могло итти вместе с левым крылом, во главе которого стояли: Герцен, Белинский, Бакунин, Огарев, до тех пор, пока речь шла о борьбе с реакционными стремлениями славянофилов (у которых, кстати, тоже было свое правое и левое крыло). Но левое крыло западников шло

дальше. Оно ясно видело классовую борьбу в буржуазном обществе, но склонялось к демократии и к социализму. И как раз среди этого левого крыла, которое, казалось, отстояло от славянофилов гораздо дальше, чем правое крыло западников, имелись люди, в сущности стоявшие по основным вопросам гораздо ближе к ним, чем умеренно-либеральные западники. Так, например, Герцен подобно славянофилам также полагал, что основным источником дальнейшего общественного развития России послужат отсталые формы хозяйства (община и артель), которые еще сохранились к тому времени у русского народа. Только славянофилы надеялись опереться на эти формы, чтобы задержать развитие России в сторону европейских начал, тогда как Герцен и его единомышленники, наоборот, полагали найти в них опору для дальнейшего развития в социалистическом духе. Но это совпадение особенно ясно сказалось только впоследствии. А пока между западниками и славянофилами шла ожесточенная борьба, в которой Герцен выступал, как один из застрельщиков.

В процессе устной и литературной борьбы с славянофилами начал распадаться и западнический кружок. Становилось все яснее, что между правым и левым его крылом далеко не существует единогласия. То, что Герцену казалось особенно важным (материализм в философии, неверие, политический радикализм, социализм), отвергалось или не принималось умеренным течением среди западников, во главе которого стоял профессор московского университета Грановский. На этой почве происходили тягостные недоразумения, разногласия и охлаждение. В конце концов атмосфера для Герцена в Москве сделалась совершенно нестерпимой. Он давно уже тяготился русской жизнью, ему страстно хотелось вырваться на свежий воздух Запада, и он все больше и больше начинает склоняться к мысли о поездке за границу. «Меня манила, — писал он впоследствии, — иная жизнь, даль, ширь, открытая борьба и вольная речь. Беспокойный дух мой искал арены, независимости; мне хотелось попробовать свои силы на свободе, порвавши все путы, связывавшие на Руси каждый шаг, каждое движение». Смерть отца помогла Герцену выполнить свое заветное желание.

В мае 1846 года умер старик Яковлев, оставив своему сыну огромное состояние, заключавшееся отчасти в поместьях, но главным образом в денежных капиталах (во всяком случае Герцен получил больше миллиона рублей). В те времена получить право на заграничный паспорт было очень трудно, но в конце концов Герцен добился его. В конце января 1847 года Герцен, получивший шестимесячный паспорт, выехал за границу. Его провожали друзья, грустно простившиеся с ним, как бы предчувствуя, что он больше в Россию не вернется.

IV.

Теперь для Герцена начинается новая полоса жизни, борьбы и страданий.

Уезжая за границу, Герцен еще не решил окончательно порвать с родиной и навсегда остаться в чужих краях. Но возможность такого исхода у него несомненно мелькала.

В первое время он с головой погрузился в европейскую жизнь. Его тянуло в Париж, о котором он мечтал с самого детства, в этот город революции, социализма и борьбы. В Париж он въезжал «с трепетом сердца, с робостью, как некогда въезжали в Иерусалим, Рим». Здесь Герцен нашел старых товарищей, Бакунина и Сазонова. Здесь он быстро перезнакомился с вождями тогдашнего революционного движения. Впрочем, Герцен встречался главным образом с интеллигентными кругами, с буржуазными демократами, искренно воображая, что это соль земли, цвет человечества, что это главные деятели истории. С рабочей массой Герцен ни тогда, ни после не был связан и даже оставался чужд ее психологии. Обладая большими денежными средствами, Герцен зажил за границей очень широко, купил (позже) в Париже собственный дом, останавливался в лучших гостиницах и не отказывал себе ни в чем. С утра до ночи бегал он по кафе, театрам, по редакциям оппозиционных газет, знакомился, шумел, спорил и вместе с другими ждал революции, которая должна была очистить мир и положить начало всеобщему братству и свободе.

Но уже с первых дней пребывания на Западе Герцен начал в нем разочаровываться. Запад, который представлялся ему в николаевской России обетованным царством, полным жизни и революционного творчества, на деле оказался далеко не таким, как его воображали себе в московских передовых кружках. Присмотревшись ближе к европейской жизни, Герцен увидел там царство буржуазии, господство мещанства, которое было ему ненавистно и как социалисту, и как аристократу (каковым Герцен оставался до конца дней своих). Увлечение Европой у него начинает проходить и сменяется противоположной крайностью—полным разочарованием в западной цивилизации. «Париж в один год отрезвил меня», писал он впоследствии,—«зато этот год был 1848 год».

В августе и сентябре 1847 года Герцен совершил первую поездку по Италии, в октябре вернулся на неделю в Париж, а 21 октября снова уехал в Италию. Здесь он присутствовал при первых вспышках революции 1848—1849 гг. и был свидетелем пробуждения итальянского народа, наблюдал народные манифестации, сам принимал в них участие, и ему показалось, что приближается желанный день, о котором он всегда мечтал. В это время вспыхнула февральская революция в Париже. Герцена сразу потянуло обратно в революционную столицу. Ему казалось изменой всем убеждениям не быть в Париже, когда в нем республика.

Уже первые впечатления во Франции навели Герцена на печальные размышления, но он гнал от себя скептические мысли. События в Париже нанесли окончательный удар старым верованиям Герцена. Он своими глазами наблюдал торжество буржуазии, ее тупую реакционность, зверскую вражду к пролетариату, бессилие рабочих разбить свои цепи. Но особенно поразило его банкротство революционных вождей, говоривших старыми фразами, не понимавших, как ему казалось, развертывавшихся событий и оказавшихся совершенно не на высоте задачи. Особенно же тяжелое впечатление произвело на него беспощадное усмирение июньского восстания рабочих в Париже. Этих мрачных картин он не мог забыть никогда.

«В ушах еще раздаются выстрелы,—писал он под свежим впечатлением виденного,—топот несущейся кавалерии, тя-

желѣй, густой звук лафетных колес по мертвым улицам; в памяти мелькают отдельные подробности: раненый на носилках держит рукой бок и несколько капель крови на руке; омнибусы, наполненные трупами, пленные со связанными руками, пушки на Бастильской площади, лагерь у ворот Сен-Дени, на Елисейских полях и мрачное ночное «часовой, слуша-ай!»... Сидеть у себя в комнате, сложа руки, не иметь возможности выйти за ворота и слышать возле, кругом, вблизи, вдали выстрелы, канонаду, крики, барабанный бой, и знать, что возле льется кровь, режут, колют, что возле умирают,—от этого можно умереть, сойти с ума. Я не умер, но я состарелся, я оправляюсь после июньских дней, как после тяжкой болезни» («С того берега»).

После поражения июньских инсургентов во Франции началась безудержная буржуазная реакция, предвещавшая скорое падение республики. Герцен видел все это, но вместе с тем он видел, что вожди тогдашнего революционного движения совершенно бессильны чему-нибудь помочь и что-нибудь предотвратить. Делались попытки остановить буржуазную реакцию, но они не удавались и только ее усиливали. Сам Герцен вместе с другими эмигрантами, проживавшими в то время в Париже, принял участие в невооруженной демонстрации 13 июня 1849 года, которая была разогнана драгунскими саблями. После этого Герцен счел свое дальнейшее пребывание в Париже не безопасным и уехал в Швейцарию.

V.

После банкротства революционных надежд 1848 года Герцен почувствовал, как его охватила «глубокая ночь». К политическим разочарованиям присоединились личные несчастья. Жена Герцена, с которой он некогда жил душа в душу, полюбила немецкого поэта Георга Гервега, который был одно время близким другом Герцена и жил с семьей в его доме. Герцен отнесся к этому событию с присущей ему страстностью. Он хотел покончить с собой, убить своего соперника, ссорился со старыми друзьями, которые смотрели на инцидент

не его глазами, и вообще потерял душевное равновесие. Здоровье его жены, и без того хрупкое, окончательно надорвалось, и некогда веселый дом Герцена сделался обиталищем скорби. Вдобавок Герцена постигло новое несчастье: в январе 1851 года утонули в море его мать и сын Николай. Это новое несчастье окончательно добило жену Герцена и надломило его собственную душу. 2 мая 1852 года жена Герцена умерла. После пережитых потрясений Герцен отдал своих детей старой русской приятельнице, Марье Каспаровне Эрн, вышедшей замуж за известного музыканта Рейхеля и проживавшей тогда в Париже, а сам со старшим сыном Александром в августе 1852 г. переехал в Лондон, где ему суждено было остаться надолго.

При таком неуравновешенном душевном состоянии разочарование Герцена в европейской жизни приняло особенно резкие и болезненные формы и сложилось в какой-то безысходный пессимизм. «Все рухнуло—общее и частное», писал он,—«европейская революция и домашний кров, свобода мира и личное счастье. Камня на камне не осталось от прежней жизни».

Половина надежд, половина верований была убита. Мысли отрицания и отчаяния бродили в голове и укоренялись... После таких потрясений, как говорит Герцен, живой человек не остается по-старому. Душа его или становится еще религиознее, держится с отчаянным упорством за свои верования и находит утешение в самой безнадежности—и человек вновь зеленеет, обожженный грозой, неся смерть в груди; или же он мужественно и скрепя сердце отдает последние упования, становится еще трезвее и не удерживает последние слабые листья, которые уносит резкий осенний ветер.

«Что лучше? Мудрено сказать. Одно ведет к блаженству безумия, другое—к несчастью знания. Выбирайте сами. Одно чрезвычайно прочно, потому что отнимает все; другое ничем не обеспечено, зато многое дает... Я избираю знание, и пусть оно лишит меня последних утешений, я пойду нравственным нищим по белу свету,—но с корнем вон детские надежды, отроческие упования. Все их под суд неподкупного разума».

Герцену казалось, что, поставив крест над Западной Европой, признав ее неспособной к творчеству новых форм жизни, он достиг правильного понимания историческаго развития. Свой безнадежный взгляд на ход европейских событий он считал точно установленным «знанием». И по мере того, как он разочаровывался в Западной Европе, он духовно и мысленно «возвращался на родину», в Россию. Все свои надежды он начал теперь возлагать на русский народ. Вновь проснулись в его душе старые славянофильские идеи, с которыми он в свое время так боролся в Москве и которыми он незаметно для самого себя заразился от своих противников. В отсталых формах русской жизни он усматривал глубокие основы и верный источник социального устройства, к которому Запад стремился с таким трудом, но осуществить которое у него не хватало сил. Начинается та идеализация русской общины и вообще русских общественных отношений, которой Герцен остался верен до конца и которая дает ему право на звание одного из основателей русского народничества.

VI.

В общем взгляды Герцена на будущие судьбы России сложились в следующую систему.

Славяне более всех других народов подготовлены к социализму, особенно там, где они не подверглись глубокому влиянию буржуазно-государственной культуры. «Нет в Европе народов, более подготовленных для социальной революции, чем все неонемеченные славяне, начиная с черногорцев и сербов и кончая народностями России в недрах Сибири. Образ жизни и обычное право славян в основе своей представляют картину общинной организации и общинных обычаев, иначе—коммунистических в полуварварской, первобытной форме, главным недостатком которой является отсутствие личной, индивидуальной свободы. Ничего подобного не встречается нигде у народов римско-германских» («В редакцию Польского Демократа», 1853 г.).

Быт славянских племен, сохранивших независимость и

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ПОГАШЕНО
520711

собственную физиономию, представляет «нечто в роде колеблющегося, неопределенного, неустоявшегося анархизма». Славянские народы собственно «не любят» ни государства, ни централизации. Федерация была бы самая народная форма для славянских народов. В частности это относится и к русскому народу. «В России нет ничего оконченного, окаменелого; все в ней находится еще в состоянии раствора, приготовления».

И тут Герцен (в письмах к Линтону, 1854 г.) ставит знаменитый вопрос, который с тех пор в течение полувека не сходил со страниц русской легальной и нелегальной печати и сыграл такую выдающуюся роль в спорах между различными русскими политическими течениями: «Должна ли Россия пройти всеми фазами европейского развития, или ее жизнь пойдет по иным законам?» В частности, должна ли Россия пройти через фазу капитализма, буржуазных отношений?

Герцен отвечает на этот вопрос отрицательно.

«Я совершенно отрицаю необходимость этих повторений. Мы, пожалуй, должны пройти трудными и скорбными испытаниями исторического развития наших предшественников, но так, как зародыш проходит до рождения все низшие ступени зоологического существования. Оконченный труд и добытый результат входят в общее достояние всех понимающих, это—круговая порука прогресса, майорат человечества. Я знаю, что результат сам по себе не передается, по крайней мере бесполезен,—результат действителен, как последствие целого логического развития. Всякий школьник должен сам найти решение Эвклидовых предложений, но какая огромная разница между трудом Эвклида, открывшего их, и трудом ученика нашего времени!

„Россия проделала свою революционную эмбриогению (прохождение зародышем разных ступеней развития) в „европейском классе“.... Народу русскому не нужно начинать снова этот тяжкий труд. Зачем ему проливать кровь свою для достижения тех полурешений, до которых мы дошли и которых вся важность состоит только в том, что мы через них дошли до иных вопросов, до новых стремлений? Мы за народ отбыли эту тягостную работу, мы поплатились за

нее виселицами, каторжною работою, казематами, ссылкою, разорением и нестерпимой жизнью, в которой живем!"

Эту мысль, что идейный опыт интеллигенции может заменить для народа его действительный опыт, повторяется Герценом неоднократно. Даже с революцией, по его мнению, можно „справиться так, как с оспой,—путем прививки". Вообще, раз известные результаты добыты и получены, они добыты и получены для всех народов, „желающих пользоваться ими". Эта мысль вошла в обиход народничества, и даже у Чернышевского, мы встречаем ее,—правда, не в таком упрощенном виде.

России легче будет перейти к социализму, чем Европе,—не перестает на все лады доказывать Герцен. „Мы в некоторых вопросах потому дальше Европы, свободнее ее, что так отстали от нее". России нечего терять, ей нечем дорожить, а человек, живущий в меблированных комнатах, легче переезжает, нежели тот, кто обзавелся домом. „Европа идет ко дну от того, что не может отделаться от своего груза,—в нем бездна драгоценностей, набранных в дальнем опасном плавании. У нас это искусственный балласт; за борт его.—и на всех парусах в широкое море!" 1858 г.

Нравственно русские свободнее европейцев,—говорит Герцен в письме к Г. Гервегу (1849 г.),—и это потому, что у них нет прошлого, которое владычествовало бы над ними. Все, что так тесно сковывает западных людей со старым миром, не существует для нас. Россия—пролетарий среди народов. „Русские круто отрешаются от всех связей разом, от религий, от преданий, от авторитета; нам нечего щадить, нечего беречь, нечего любить, но есть что ненавидеть. Россия, в отношении к старому миру, поставлена так же, как пролетариат: ей ничего не досталось, кроме несчастий, рабства и стыда. Потому эти двое лишенные наследства и надеются на общее воскресение в социальном перевороте" (речь на 23-й годовщине польского восстания в Лондоне 1853 г.).

Русский беднее бедуина, беднее еврея (в смысле связывающих его традиций),—у него ничего нет, на чем бы он мог примириться, что бы его утешило. Возможно, что в этом

и лежит зародыш его революционного призвания. Государство враждебно народу, правительство носит немецкий характер (слабость Герцена, отголосок славянофильства) и чуждо народным массам, буржуазия слаба, собственнические традиции отсутствуют,—словом, Россия—тот щедринский мальчик без штанов, которому нечего терять. Она терпит власть помещиков и правительства, потому что у нее не хватает сил освободиться от них. Но когда она восстанет, она не остановится на полдороге. Она не сбросит с себя дворянских цепей только для того, чтобы сейчас же надеть вместо них буржуазные. Она сразу сделает социальную революцию (Письмо к Мишле, 1851 г., и письмо к редактору „l'Homme", 1854 г.).

„Порог, за который Европа зацепилась, для нас почти не существует. И естественной непосредственности нашего сельского быта, в шатких и неустоявшихся экономических и юридических понятиях, в смутном праве собственности, в отсутствии мещанства и в необычайной усвоимости чужого мы имеем шаг (т.-е. преимущество) перед народами, вполне сложившимся и усталыми... Общинное владение землею, мир и выборы составляют почву, на которой легко может возрасти новая общественная жизнь, почву, которой, как нашего чернозема, почти нет в Европе" („Еще вариации на старую тему", письмо к И. С. Тургеневу, 1857 г.).

Герцен убежден, что один факт общинного владения землею и переделa полей сам по себе оправдывает предположение, что наша невозделанная почва, наш чернозем с п о с о б н е е для посева зерна, собранного с западных полей,—способнее по стихиям, из которых она состоит, способнее потому, что на ней меньше мусора и всякого рода развалин, чем на западных полях" („Повторение есть мать учения", 1861 г.).

Наконец, Герцен верит в глубокую внутреннюю силу русского народа, которая помогла ему сохранить душу живу посреди выпавших на его долю тяжких исторических испытаний. „Мне кажется,—говорит он,—что в русской жизни есть нечто более возвышенное, чем община, и более сильное, чем власть; это „нечто" трудно выразить словами и еще труднее указать на него пальцем. Я говорю о той

внутренней, не вполне сознающей себя, силе, которая так удивительно поддерживала русский народ под игом монгольских орд и немецкой бюрократии, под восточным кнутом татарина и западной розгой кандала,—я говорю о той внутренней силе, благодаря которой, несмотря на унизительную дисциплину рабства, русский крестьянин сохранил открытое красивое лицо и живой ум, и которая на императорский приказ ввести цивилизацию ответила, спустя столетие, колоссальным явлением Пушкина; я говорю, наконец, о той силе и той вере в себя, которые волнуют нашу грудь. Сила эта, независимо от всех внешних случайностей и несмотря на них, сохранила русский народ и покровительствовала его непоколебимой вере в себя. Зачем?... Это выяснит время" („Россия", Г. Гервегу 1849).

Эта почти религиозная вера в русский народ и в его великое историческое призвание спасала Герцена от полного отчаяния, вызванного поражением европейской революции 1848—49 г. и личными несчастиями. Вот почему, говоря его словами, он среди мрачного, раздирающего душу реквиема, среди темной ночи, которая опустилась над «усталым, больным Западом», отворачивался от «предсмертного стона великого бойца, которому помочь нельзя», и с упованием смотрел на родной Восток, «внутри радуясь, что он русский». Вот почему он восклицал: «Да здравствуешь русское село! Будущность его велика».

Временами Герцен не закрывает глаз на ограниченность первобытного сельского коммунизма и указывает на его недостатки. «Сельская жизнь, как и всякий коммунизм,—говорит он,—совершенно поглощает личность». В общине слишком мало движения; извне она не получает никаких толчков, которые побуждали бы ее к развитию. Нет ни конкуренции, ни внутренней борьбы, которые вызывали бы разнообразие и движение. И Герцен доходит даже до утверждения, что общинное устройство усыпило русский народ («Россия», 1849 г.).

«Само собою разумеется,—замечает он в другом месте («Крещеная собственность», 1883 г.),—что ни в коммунизме деревень, ни в казацких республиках мы не могли бы найти удовлетворения нашим стремлениям. Все это было слишком

дико, молодо, неразвито, но из этого не следует, что нам должно ломать эти незрелые начинания, — напротив, их надобно продолжать, развивать, образовывать. Тут нет большого достоинства, что мы неподвижно сохранили нашу общину в то время, как германские народы ее утратили, но это — большое счастие и его не надобно выпускать из рук. Мы долго ждали, долго временили,—воспользуемся опытностью наших соседей: она им страшно дорого стоит».

Возражая либералам, сторонникам уничтожения общины в интересах развития капиталистического производства, Герцен говорит, что община с переделами и собственное мирское управление—единственные сокровища, оставшиеся у русского народа. «Вот и все приданое Сандрильоны; зачем же отнимать последнее?» Но вместе с тем Герцен готов признать, что одними собственными силами русская община вряд ли сумеет доразвиться до более высоких социальных форм. Она воспользуется примером Запада, от которого возьмет «оплодотворяющее зерно» в лице европейского социализма» (1861 г.). Ту же мысль он высказывает и раньше в письмах к Мишле от 8 июля 1855 г. «Ленивый народ, славянин, «усыпляющий себя собственной песней», по выражению одного летописца времен багрянородных, нуждается в сильной и энергичной мысли Запада. Славянский мир никогда не сумеет развить свою социалистическую основу, дикарскую, врожденную,—без той революционной идеи, которая реет над Западом, как его бессмертная душа. Мы не претендуем на пресловутое fara da se (самодовлеемость) помимо солидарности и единения народов... Я говорю русским и на все лады повторяю, что социальная идея, выработанная Западом, — единственное средство рационально развить способности (склонности) и социальные нравы славян».

Оптимизм Герцена по отношению к русским делам питался еще уверенностью, что России предстоит путь мирного развития к высшим формам общественной жизни. «Вопросы наши так поставлены, — говорит он, — что они могут быть разрешены общими социально-государственными мерами без насильственных потрясений» («Еще вариация», 1857 г.). Это странное убеждение Герцена зависело

от того, что, как мы увидим ниже, он выдвинул в качестве ближайшей программы такие частичные вопросы, которые действительно допускали мирное разрешение. Но если он надеялся в России достигнуть социальной революции мирным путем, то это объяснялось только его душевной усталостью и отвращением к кровопролитию, развившимися у него после подавления революции 1848 года!

Эти взгляды Герцена вызвали возражения с разных сторон. Против них протестовали умеренные западники, недовольные отрицательным отношением Герцена к буржуазной цивилизации и уступками, которые он невольно для себя делал при этом славянофилам. Грановский изумлялся, чего ради Герцену вздумалось разыгрывать перед Европой роль московского славянофила. А. И. С. Тургенев резко раскритиковал упования Герцена на русскую самобытность и на общину, указав ему, что Россия как запнулась о мужицкую избу, так и стоит на месте несколько столетий. В тех самых условиях сельского быта, в которых Герцен видел основу будущего социализма, Тургенев усматривал возможность такой самобытной российской буржуазии в сапогах и овчинном тулупе, которая заткнет за пояс западноевропейскую.

Но и социалисты выступили против преувеличенно-отрицательного отношения Герцена к европейской истории и против его неосновательных надежд на русскую общину. Особенно резко напал на него Н. Чернышевский в знаменитой статье «О причинах падения Рима». Чернышевский напоминал о том, что община существовала у всех народов на известной ступени развития, сохранение же ее в России свидетельствует лишь о нашей отсталости, о медленности и вялости исторического развития. Он протестует против идеализации первобытных форм, представляющих «просто смесь анархии с деспотизмом», и издевается над людьми, «любящими дешевым манером подсмеиваться над славянофилами, не замечая того, что сами не чужды коренной тенденции, из которой происходит славянофильство»[1]). Чернышев-

[1]) На почве разочарования западной цивилизацией у Герцена действительно произошло некоторое духовное сближение с слафянофилами.

ский же смеется над утверждениями, что Россия своей зрелостью призвана возродить Запад и внести в европейскую цивилизацию высшие элементы. Европа идет к осуществлению социализма своим путем, если же Герцен этого не замечает, то лишь потому, что не понимает исторической роли пролетариата. Запад не умирал, он только начинал жить, ибо рабочий класс только выступает на сцену.

Особенно же враждебно отнеслись к проповеди Герцена европейские демократы, усмотревшие в ней отголосок ненавистного им панславизма, этого испытанного орудия в руках царизма. Действительно, идеи, развиваемые Герценом, могли подать повод к недоразумениям, тем более, что он часто не удерживался от неосторожных и двусмысленных выражений.

В письме к анархисту Э Кердеруа от 7 июня 1854 г. Герцен грозит Европе, если она сама не устроится, вторжением (ясно, казаков). Пусть это обмолвка, вызванная самим Кердеруа, озлобленным жестокостью буржуазии и призывавшим на голову обанкротившейся цивилизации казачьи нагайки. Но в устах русского такие неосторожные слова весьма дурно воспринимались западными демократами, ненавидевшими русский царизм, который в те времена сковывал развитие европейской жизни и был самым опасным врагом революции.

Столь же возмущала европейских демократов манера Герцена (и Бакунина) объяснять все отрицательные стороны русской истории немецким влиянием, его огульные нападки на немецкую культуру и на всех немцев без изъятия. Эту привычку и Герцен, и Бакунин (да вообще их круг) заимствовали от славянофилов. Но особенное подозрение со стороны западно-европейских демократов вызывали такие за-

---

Вообще Герцен считал их дикими изуверами, от которых «веет застенком, рваными ноздрями, эпитимией, покаянием, Соловецким монастырем». Попадись этим господам в руки власть, они заткнут за пояс III отделение (письмо к Тургеневу, 1857 г.). Но в некрологе К. С. Аксакова («Колокол», № 90, 15 января 1861 г.) Герцен уже говорит о славянофилах дружеским тоном. Он уверяет, что у них была даже о д н а любовь, но не о д и н а к а я — к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума. «Мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как с е р д ц е б и л о с ь о д н о». Разумеется, славянофилы остались очень довольны этой статьей Герцена.

вления Герцена, в которых они усматривали явное проявление панславистских стремлений.

Так, в письме к Мадцини от 20 ноября 1849 г. Герцен пишет: «Взятие Константинополя было бы началом новой России, началом славянской федерации — демократической и социальной (!)». Что у Герцена это не было простой обмолвкой, видно из того, что к мысли о завоевании Константинополя он возвращается неоднократно. В письмах к Линтону (20 февраля 1850 г.) он говорит: «Настоящая столица объединенных славян—Константинополь, Рим восточной церкви (!)». И вокруг этого центра должны собраться «пробужденные социализмом» славяне.

Немудрено, что европейские демократы с недоверием относились к такому социализму, одно из требований которого удивительным образом совпадало с стародавним стремлением петербургского самодержавия — стремлением к овладению наследством «больного человека» и к захвату Стамбула, Царьграда. И по этому поводу Герцену пришлось выслушать много горьких упреков. Если даже для нас, русских, могущих разобраться в наших партиях и хорошо знающих, что Герцен и Бакунин были непримиримыми врагами самодержавия, подобные заявления звучат крайне странно, то нетрудно себе представить, как к ним должны были отнестись западные демократы, для которых русский революционер тогда вообще был новинкой и которые справедливо усматривали в царской России своего самого заклятого врага.

VII.

Мы видели, как после разочарования в судьбах европейской революции состоялось «духовное возвращение» Герцена на родину. Однако в Россию Герцен не вернулся. Слухи об его связях с европейскими революционерами и об его участии в революционной агитации дошли до русских правящих сфер. Узнав об этом, правительство Николая I наложило секвестр на недвижимые имения Герцена и пытались даже захватить деньги его матери в московской сохранной казне. Засим Гер-

цену был послан приказ вернуться в Россию. Но он, прекрасно зная, что ждет его на родине, где к тому времени восторжествовала самая дикая реакция, отказался выполнить приказ правительства и предпочел сделаться политическим эмигрантом. 22 марта 1851 года сенат постановил лишить Герцена всех прав состояния и считать его навсегда изгнанником из пределов государства, а с имением его поступить по законам (т. е. взять в опекунское управление). Государственный Совет подтвердил это решение, а 26 сентября оно было утверждено царем.

Интересно прибавить, что московские друзья Герцена отрицательно отнеслись к его решению и даже вообще осуждали его политическую деятельность за границей. Подавленные николаевским террором и будучи по существу умеренными буржуазными либералами, а вовсе не революционерами или социалистами, они смотрели на работу Герцена как на совершенно бесплодную агитацию, России не нужную и не имеющую никаких корней в русской жизни. Герцен счел нужным объяснить им почему он предпочел тяжелую жизнь эмигранта возвращению в деспотическую Россию.

«Пожалуйста, не ошибитесь»,—писал он им в предисловии к своей книге «С того берега»,- не радость, не рассеяние, не отдых, ни даже личную безопасность нашел я здесь, да и не знаю, кто может находить теперь в Европе радость и отдых,—отдых во время землетрясения, радость во время отчаянной борьбы... Время прежних обманов и упований миновало. Я ни во что не верю здесь, кроме в кучку людей, в небольшое число мыслей да в невозможность остановить движение; я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего из существующего, ни его вершинное образование, ни его учреждения... Я ничего не люблю в этом мире, кроме того, что он преследует, ничего не уважаю, кроме того, что он казнит,—и остаюсь... остаюсь страдать вдвойне, страдать от своего горя и от его горя, погибнуть, может быть, при разгроме и разрушении, к которому он несется на всех парах.

«Зачем же остаюсь? Остаюсь затем, что борьба здесь, что, несмотря на кровь и слезы, здесь разрешаются обще-

ственные вопросы, что здесь страдания болезненны, жгучи, но гласны: борьба открытая, никто не прячется. Горе побежденным, но они не побеждены прежде боя, не лишены языка, прежде чем вымолвили слово; велико насилие, но протест громок; бойцы часто идут на галеры, скованные по рукам и ногам, но с поднятой головой, с свободной речью. Где не погибло слово, там и дело еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эти речи, за эту гласность я остаюсь здесь.

«За эту речь я переломил или, лучше сказать, заглушил на время мою кровную связь с народом, в котором находил так много отзывов на светлые и темные стороны моей души, которого песнь и язык — моя песнь и мой язык, и остаюсь с народом, в жизни которого я глубоко сочувствую одному горькому плачу пролетария и отчаянному мужеству его друзей.

«Дорого мне стоило решиться... Вы знаете меня... и поверите... Месяцы целые взвешивал я, колебался и наконец принес все на жертву человеческому достоинству, свободной речи»...

«Я остаюсь здесь не только потому, что мне противно, переезжая через границу, снова надеть колодки, но для того, чтоб работать. Жить, сложа руки, можно везде; здесь мне нет другого дела, кроме нашего дела... Я здесь полезнее, я здесь бесцензурная речь ваша, ваш свободный орган, ваш случайный представитель».

Герцен, оставшись за границей, решил не сидеть сложа руки. В тот момент в России не было никакого движения; поэтому в первое время Герцен не мечтал еще о работе для России: эта мысль возникла у него впоследствии. Первая задача, которую он себе поставил,—это ознакомить Европу с Россией. Европа знала тогда русское правительство, фасад русского государственного здания, давившего ее своим внешним величием и пугавшего ее своей кажущейся грозной силой. Но русского народа она не знала. Герцен решил познакомить передовых европейских людей с жизнью и страданиями русского народа, с первыми проявлениями революционного движения в России и с теми чаяниями, которые питают пере-

довые русские люди. «Пусть, — говорил он, — она (Европа) узнает ближе народ, которого отроческую силу она узнала в бою, где он остался победителем; расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образовал государство в шестьдесят миллионов, который так крепко и удивительно разросся, не утратив общинного начала, и первый перенес его через начальные перевороты государственного развития; об народе, который как-то чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским, который сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой натуры под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться ответил через сто лет громадным явлением Пушкина. Пусть узнают европейцы своего соседа; они его только боятся,—надобно им знать, чего они боятся».

Мы уже говорили, что в 1849 году Герцен уехал из Франции в Швейцарию. В 1850 году он сделался швейцарским гражданином, натурализовавшись в деревне Шатель близ Муртена во Фрейбургском кантоне. После этого он проживал то в Швейцарии, то в Ницце, то в различных итальянских городах, пока не уехал надолго в Лондон. В это время он в целом ряде газетных статей, брошюр и книг*) старался выполнить свое намерение ознакомить Европу с неофициальной Россией, с русской литературой и народом. Между прочим в 1849 году он пытался использовать для этой цели газету Прудона «La Voix du Peuple» (Голос Народа), на залог для которой он дал 24 тысячи франков. Иностранный отдел в газете был предоставлен в распоряжение Герцена. Газета пошла было хорошо, но капитал ее был быстро съеден правительственными штрафами, и она через несколько месяцев закрылась. Из главных работ Герцена, посвященных задаче ознакомления европейской публики с русским народом, следует назвать: «Россия» (Г. Г-у, то есть Георгу Гервегу), «Письмо русского к Маццини», «О развитии революционных идей в

*) Главным образом под псевдонимом Искандер (восточная переделка имени Александр).

России», «Русский народ и социализм» (письмо Ж. Мишле), «Михаил Бакунин» (письмо Ж. Мишле)—все это по-французски, «Русское крепостничество» по-английски, «Старый мир и Россия» (письма к В. Линтону)—по-английски, по-французски и пр. Сюда же относятся его знаменитые мемуары «Былое и Думы», значительная часть которых была напечатана на иностранных языках и которые имели особенный успех среди европейских читателей—в значительной мере благодаря выдающейся талантливости, с которой они написаны.

Эти мемуары были задуманы Герценом в 1852 году вскоре по переезде его в Лондон. Чувствуя себя тогда совершенно разбитым после всех пережитых им личных потрясений и общественных разочарований, Герцен смотрел на эту работу, как на постройку «надгробного памятника». Записки действительно проникнуты глубоким чувством меланхолии и усталости, но глубокий талант Герцена и широта его ума далеко раздвинули намеченные первоначально рамки, и в результате получилась интереснейшая работа, характеризующая развитие умственного движения в передовом русском обществе в тридцатые и сороковые годы. Вместе с тем «Былое и Думы» представляют историю мятущейся души русского интеллигента, кающегося дворянина, одновременно затрагивают такие глубокие струны человеческого сердце, что это сочинение Герцена, вероятно, переживет все его остальные и надолго останется любимым чтением современного человека.

VIII.

Но живая и деятельная натура Герцена не могла примириться с узкими рамками писания для европейской публики о России. Для него важнее была вторая задача, поставленная им себе, когда он решил сделаться эмигрантом, это—писать для русской публики из Европы. В письме к прусскому демократу Иоганну Якоби от 24 апреля 1850 года Герцен говорил: «Пропаганда—единственное дело, которое мне остается». А в письме к своему другу М. К. Рейхель (Эрн) от 8 февраля

1853 года он сообщает, что решил приступить к печатанию «по-русски». Эта мысль возникла у него еще в 1849 году в Париже, после первых ударов, нанесенных его старой вере в Европу.

Нужно отметить, что его московские друзья, задавленные николаевским деспотизмом, осуждали революционные замашки Герцена, не сочувствовали его деятельности и всячески уклонялись от сношений с ним (даже присылки запрещенных сочинений Пушкина он не мог от них добиться). Чтобы доказать им возможность таких сношений, он решил приступить к изданию книг и брошюр на русском языке, при чем польские эмигранты взяли на себя их доставку в Россию.

В начале 1853 года на средства Герцена при типографии Польского Демократического Общества устроена была «Вольная русская типография», которая с мая того же года начала свою работу. Первой ее публикацией было обращение к «Братьям на Руси». Здесь Герцен упрекает своих московских друзей в рабском молчании. Свободное слово в России невозможно. Пусть же свободная русская речь раздается за границей. «Открытая вольная речь—великое дело; без вольной речи нет вольного человека. Недаром за нее люди дают жизнь, оставляют отечество, бросают достояние... Открытое слово—торжественное признание, переход к действию». Выражая уверенность в том, что наступило время издания свободной русской литературы, он предлагает своим московским друзьям помочь ему в этом предприятии.

Герцен давно уже почувствовал себя «лишним» на Западе. С весны 1853 года, он, по его словам, окончательно покинул западные дела и решил заняться русской пропагандой. 1 мая 1853 года вольная русская типография была открыта. Герцен возлагал на нее большие надежды. 12 февраля 1854 года он пишет той же М. К. Рейхель: «От заведения русской типографии начинается новый период русской революционной деятельности». И по существу Герцен был, конечно, прав. Именно с этого момента начинается зарубежная вольная русская литература.

Сначала Герцен выпускает в своей типографии ряд листков: «Братьям на Руси», «Юрьев день», «Поляки про-

щают нас». Затем, в связи с оживлением, начавшимся в России после Крымской войны, Герцен решается расширить свою издательскую деятельность. В 1855 году он приступает к изданию журнала «Полярная Звезда», названного так в честь одноименного альманаха, выпускавшегося в 1823—1825 гг. будущими декабристами А. А. Бестужевым (Марлинским) и Рылеевым в Петербурге. С 1855 года журнал выходил почти ежегодно вплоть до 1862 года.

Герцен чувствовал, что толстый лед, которым Николай I оковал Россию, начал оттаивать, и ждал глубоких изменений в русской жизни. Ему казалось, что дело декабристов оживает. «Неужели»,—писал он в первой книжке «Полярной Звезды»,— неужели через сорок лет (после наполеоновских войн) пройдет даром гигантский бой в Тавриде? Неужели севастопольский солдат, израненный и твердый как гранит, испытавший свою силу, так же подставит свою спину палке как и прежде? Ополченный крестьянин воротится на барщину так же покойно, как кочевой всадник с берегов каспийских, сторожащий теперь балтийскую границу, пропадет в своих степях? И Петербург видел понапрасну английский флот? Не может быть. Все в движении, все потрясено, натянуто... и чтоб страна, так круто разбуженная, снова заснула непробудным сном?! Лучше пусть погибнет Россия! Но этого не будет».

Волны общественного оживления в России хлестали все выше и выше. На ряду с усилением умеренно-либерального течения появились и радикальные стремления среди разночинцев, выражением которых скоро стал «Современник» Добролюбова и Чернышевского. Правительство увидело себя вынужденным приступить к разрешению крестьянского вопроса. Перед Герценом открывалось все более широкое поле деятельности.

В 1856 году в Лондон приехал Огарев. Теперь работа закипела еще сильнее. Уже «Полярная Звезда» могла похвастать некоторым успехом: со второй книжки журнала расходы по типографии начали окупаться. Но журнал был слишком тяжеловесным орудием. Нужно было более частое и боевое издание, способное откликаться на все быстро

встающие в забродившей России вопросы. Приезд Огарева в Лондон прямо из России сыграл в этом отношении большую роль. С 1 июля 1857 года Герцен и Огарев приступили к изданию «Колокола», почти целиком посвященного русским делам.

«Колокол», выходивший до 15 февраля 1858 года раз в месяц, а затем дважды в месяц, быстро достиг очень крупного успеха. Тираж его дошел до 2.500 экземпляров, что по тогдашним временам было очень большой цифрой; некоторые номера его выходили даже вторым изданием. «Колокол» был не только в руках учащейся молодежи, но и проник во все сферы русского общества. Даже при дворе «Колокол» читали с величайшим интересом. Кое-где даже жандармские полковники распространяли его из-под полы. За «Колоколом» нервно следили Александр II и его жена. Герцен сделался «властью». Явились как бы два правительства—официальное в Петербурге и неофициальное в Лондоне—и «которое строже, трудно сказать»,—замечает один современник. У Герцена сразу появилась масса корреспондентов из России. Западники, славянофилы, консерваторы, либералы, революционеры, обыватели, чиновники, все это писало в Лондон, сообщало факты, разоблачало. Русские, выезжавшие за границу, начиная от крестьян и кончая придворными аристократами и сановниками, считали своим долгом заехать к Герцену, накупить его литературы и привести ее в Россию. В правящих сферах Герцена боялись как огня. Но это влияние, этот страх вызывались не столько теоретическими взглядами Герцена, сколько теми разоблачениями, которые систематически начали появляться в «Колоколе». Всякий чиновник, сановник, помещик, совершавший ту или иную пакость, мог быть уверен, что вскоре его подвиги будут раскрыты на страницах «Колокола». Гнилое болото самодержавной России всколыхнулось и заволновалось. Правительство начало принимать решительные меры борьбы с изданиями Герцена. Ему удалось даже побудить иностранные правительства, как французское, прусское, саксонское и другие, открыть гонение на эти издания и запретить их продажу в своих пределах. Но это не помогало делу. Влияние Герцена росло неудержимо.

Но в народные массы издания Герцена не проникли. Да он к ним и не обращался. Его аудиторией было либеральное дворянство, готовое отказаться от крепостного права и перейти к капиталистической системе производства. Убежденный социалист, во многих случаях склонный даже к анархическим воззрениям, Герцен, обращаясь к России, отказывался от всякой «системы», от всякого «учения» и неоднократно с гордостью подчеркивал это.

В статье «Вперед! Вперед», написанной после заключения парижского трактата, подписанного 3 марта 1856 года, Герцен выставил крайне узкую программу: «Долой дикую цензуру и дикое помещичье право! Долой барщину и оброк! Дворовых на волю!» И подчеркивая, что с этой программой он обращается не к народу, а к дворянам, в частности, к царю, Герцен прибавлял: «А с становыми и квартальными мы сделаемся потом». Таким образом он не связывал разрешение крестьянского вопроса с политической реформой, в данном случае с уничтожением самодержавия и полагал, что освобождение крестьян с землею и установление свободы слова возможны при царизме.

Приступая к изданию «Колокола», Герцен выставил такую программу: «Везде, во всем, всегда быть со стороны воли против насилия, со стороны разума против предразсудков, со стороны науки против изуверства и со стороны развивающихся народов против отстающих правительств. Таковы общие догматы наши». По отношению к России он выдвинул ближайшую программу, состоявшую из трех пунктов: «Освобождение слова от цензуры, освобождение крестьян от помещиков, освобождение податного сословия от побоев». И только через 4 года, когда правительство Александра II достаточно показало свою физиономию, когда умеренная программа Герцена начала вызывать протесты со стороны радикалов, он несколько расширил ее. В статье «Третья кровь», после избиения поляков, крестьян и столичных студентов, Герцен формулирует новую программу, также состоящую из трех пунктов, но несколько более широких: «независимость Польше, земля крестьянам, свобода России». При этом он заговаривает уже о Земской Думе, которая должна притти

на смену самодержавию. Но настоящей социалистической и революционной программы Герцен так и не выставлял до конца.

Успех Герцена недолго держался на достигнутой им высоте. По мере того, как обнаруживалось, что надежды Герцена на царя и либеральное дворянство не оправдались на деле, «Колокол» стал все больше леветь. Крестьянская реформа была искажена в интересах дворянства; крестьяне получили недостаточные и плохие наделы, при чем на них наложен был тяжелый выкуп. Печать не получила свободы, оппозиционное движение подавлялось самым беспощадным образом. И после недолгого колебания правительство вернулось к старой самодержавной практике Николая I. Таким образом даже крайне умеренная программа, выставленная Герценом, не была осуществлена. Вследствие этого он начал подаваться влево. В его газете появляются, правда, неопределенные призывы к народному восстанию, к активной борьбе с самодержавием и дворянством и т. п. В этом отношении на него влиял сначала Огарев, а затем бежавший из Сибири М. Бакунин. В «Колоколе» начали появляться все чаще статьи социалистического и революционного содержания. И влияние Герцена начало падать.

Если бы «Колокол» был органом начавшегося в России революционного движения, то полевение Герцена могло бы только усилить его влияние. Но в том-то и дело, что революционная молодежь признавала своим выразителем не его, а кружок Чернышевского, сгруппировавшийся в «Современнике», и появившиеся тогда в России первые тайные революционные общества. Напротив, эта молодежь относилась весьма скептически к умеренной политике Герцена. Сам Герцен обращался по преимуществу к дворянству и к буржуазным кругам русского общества. По мере того, как он левел, его аудитория отворачивалась от него, а новой приобрести он не сумел. Более того, видя, как радикальная часть русского общества отворачивается от него, Герцен совершил колоссальную политическую ошибку, напав в резкой и грубой форме на революционеров, особенно на кружок Чернышевского и Добролюбова. В своей полемике с радикалами Герцен дошел

до того, что обвинял их в прислужничестве Третьему Отделению (т.-е. тогдашней царской охранке). К этим нападкам на молодое поколение его подстрекали его бывшие друзья по кружку московских западников, в том числе и И. С. Тургенев, который в политике был весьма умеренным либералом и даже сторонником «просвещенного абсолютизма».

Окончательный удар влиянию Герцена нанесла его поддержка польского восстания. Опять-таки, если бы «Колокол» был органом тогдашней революционной партии, то активное выступление Герцена в защиту Польши не могло бы причинить ему никакого вреда. Но так как «Колокол» был или старался быть органом либерального дворянства и либерального чиновничества, то присоединение Герцена к польским патриотам сильно подорвало его обаяние в этих кругах. Как только началось польское восстание, дворянскими и буржуазными кругами в России овладел буйный припадок классного патриотизма. Господствующие классы объединились вокруг царского престола для подавления «бунтовщиков». Началась крайняя безудержная реакция. Открылось гонение не только на все польское, но и на малейшие проявления революционной оппозиции в самой России.

Сам же Герцен, который стоял на почве права наций на самоопределение или, как он выражается, «признания народов как самоправных личностей», без всякой оговорки решил поддержать польское восстание. Правда, он не сразу решился на это и долго колебался, главным образом, потому, что не был уверен в демократизме польских патриотов и в готовности их наделить крестьян землей. Но в конце концов сомнения его были устранены после переговоров с вождями польского революционного движения. А с другой стороны, Бакунин, который начал пользоваться большим влиянием на Герцена, убедил его оставить свои колебания и решительно примкнуть к борьбе поляков за свободу. Это тем легче могло удаться Бакунину, что Герцен (как и Бакунин, как и многие его старые московские товарищи) давно мечтал о федерации славянских народов. Ему казалось, что освобождение Польши будет способствовать установлению политической свободы в России, а тогда состоится союз всех освобожден-

ных славян (между прочим для борьбы с германским влиянием, которое Герцен считал крайне пагубным).

Впрочем, участие Герцена в польском восстании ограничилось только литературными выступлениями (в отличие от Бакунина, который принял в нем активное участие). Но и этого было достаточно для того, чтобы популярность «Колокола» среди его прежней аудитории пала окончательно. Буржуазно-дворянская аудитория отвернулась от Герцена. Связи «Колокола» с Россией все больше обрывались, подписка быстро падала, распространение газеты неудержимо шло вниз. Уже в 1862 году Герцен почувствовал, что его связи с родиной становятся все более слабыми. «Колокол», который раньше в России рвался из рук и зачитывался до дыр, перестал там читаться и ввозился в Россию в ничтожном количестве. Место Герцена в дворянских кругах занял радикал и царист М. Катков. Напрасно Герцен еще в 1864 г. упрямо заявлял, что прекратит издание «Колокола» только тогда, когда в России будет уничтожена всякая цензура. Уже с 25 мая 1865 года Герцен перенес издание «Колокола» в Женеву. В Швейцарии, ставшей центром молодой русской эмиграции, Герцен рассчитывал найти более подходящую почву для своей литературной пропаганды. Но и в этом отношении надежды Герцена не оправдались.

Его отношения с молодой эмиграцией при непосредственном соприкосновении с ней еще ухудшились и приняли явно враждебный характер. Молодежь смотрела на Герцена, как на безнадежно отсталого человека, принадлежащего к барскому миру, отрицала за ним всякое политическое и даже литературное значение. Герцен платил ей той же монетой да еще сторицей. Он совершенно не понял характера революционных разночинцев. Как истый барин, он с отвращением относился к их манерам, костюму, речи, образу жизни, абсолютно не сочувствовал их политическим и социальным стремлениям и вообще готов был поставить крест над всем молодым поколением. Недоразумения все более углублялись и усиливались, и в конце концов наступил полный разрыв.

Герцен начал было уже склоняться к мысли о прекращении «Колокола» и замене его трехмесячным журналом. Но из

упрямства он продолжал издавать «Колокол», не желая уступить «нахальству эмигрантов, которые скажут, что мы ослабели под их ударами». Журнал становился все более скучным, информация из России поступала все более скудно и с большими опозданиями, самый литературный талант Герцена как-то поблек, и в конце концов пришлось примириться с неизбежным. 1 июля 1867 г. Герцен объявил о приостановке журнала на полгода. К началу 1868 года журнал действительно возобновился, но уже не на русском, а на французском языке. Таким образом Герцен признал, что для его русской пропаганды нет почвы, и вернулся к своей старой задаче—знакомить Европу с Россией. Но и французский «Колокол» не пошел. Видя неудачу нового предприятия, Герцен почувствовал, что всякое желание работать у него пропало, и 1 декабря 1868 года на 14—15 номере прекратился и французский «Колокол».

После этого Герцен издал еще одну книжку «Полярная Звезда» и этим прекратилась его литературная деятельность, если не считать некоторых отдельных заметок и статей, которые он время от времени еще писал.

Кроме политических неудач, последние дни Герцена были отравлены новой личной драмой. Еще в 1857 году Герцен сошелся со второй женой своего друга Огарева, Натальей Алексеевной Тучковой-Огаревой. Жизнь с нею была также неудачна для Герцена. Сам он личного счастья не нашел, но зато разбил жизнь своего старого, верного друга, на которого разрыв с женой подействовал губительным образом.

В последние годы своей жизни, гонимый внутренней тревогой, Герцен переезжал с места на место. В январе 1870 года он простудился в Париже, где поселился с осени 1869 года, схватил воспаление легких и умер 9/21 января. Умер Герцен совершенно одиноким. Прах его временно был похоронен в Париже, а затем перевезен в Ниццу, где на могиле его был поставлен известный по снимкам памятник.

Здесь и покоится пока прах Герцена в ожидании того момента, когда освободившийся русский народ перевезет этот драгоценный прах своего великого сына на родину, за которую он страдал и боролся всю свою жизнь.

IX.

Герцен умер озобленным и разочарованным, а между тем у него были все данные для того, чтобы стать вождем и выразителем молодой революционной России. Как же могло случиться, что этот социалист, политический эмигрант, с юных лет боровшийся против произвола, на закате дней своих очутился в стороне от нарождающейся молодой России? Несчастье Герцена заключалось в том, что одной ногой вступив на почву нового мира, он другой продолжал стоять в старом мире.

В Герцене поражает двойственность психики и настроения. В теории крайний революционер и даже анархист (правда, мирный анархист, последователь Прудона), на деле Герцен был аристократом и умеренным человеком. Все встречавшиеся с ним люди как представители господствующих классов—дворяне, царские сановники, профессора, писатели, либералы, так и революционеры, разночинцы, единогласно приходили к выводу, что Герцен настоящий московский барин, аристократ с ног до головы. И действительно это было так. Герцен вышел из помещичьей семьи и до конца дней своих не мог совлечь с себя ветхого Адама. То, что он был миллионером и жил роскошной жизнью богатого барина, это сравнительно пустяк. Главная беда была в том, что его со старым миром связывали определенная культура, воспитание, традиции, глубокие интимные переживания. В душе он сочувствовал беднякам, пролетариям, страждущим и угнетенным; в теории он беспощадно рвал со старым миром, отрекался от отживших и обанкротившихся буржуазных идей. На деле же он был аристократом, его тянуло в аристократические и буржуазные сферы, он обнаруживал робкую половинчатость на практике, он чувствовал себя еще более отчужденным от нового революционного поколения, чем от старого поколения, и органически не понимал идей и стремлений борющегося пролетариата. Эта двойственность, преследовавшая его в течение всей жизни, омрачила его последние годы.

Знакомства и дружеские связи Герцена в общем и целом

не выходили за пределы буржуазной интеллигенции. В России это умеренные либералы—Тургенев, Кавелин, Анненков, Боткин, либеральничающие сановники и дворяне—граф Ростовцев, князь Долгоруков, граф Алексей Толстой, Головин, за границей—это буржуазные революционеры—Мишле, Ледрю-Роллен, Маццини, Карл Фохт, Кинкель, польские патриоты. Отнестись к ним критически Герцен совершенно не в состоянии, он благоговеет перед ними и даже когда он иногда возвышается до критики их, он останавливается на полдороге и в конце концов возвращается к ним.

Настоящих же демократов и революционеров Герцен вовсе не знал, с ними не встречался, а если и знал и встречался, то сплошь и рядом относился к ним враждебно и презрительно. Он охотно принимает у себя известного литературного барышника А. Краевского, но отказывается принять демократического поэта Некрасова, которого изображает в виде литературного бандита, «лгущего духом и торгующего талантом, как продажные женщины лгут телом и продают свою красоту». Он относился с враждой к вождям молодого поколения, Добролюбову и Чернышевскому и их кружку, называет их желчевиками, озлобленными, изломанными и исковерканными людьми, он готов даже отдать предпочтение перед ними представителям царского режима, говоря, что их критический и распекательный тон для него «противнее генеральского сиплого крика, напоминающего густой лай остепенившейся собаки, ворчащей больше по общественному положению». А с представителями молодой эмиграции, как А. Серно-Соловьевич и его товарищи, Герцен был прямо на ножах.

Помимо всего прочего он обвинял их в том, что они покушаются на его капиталы. Он объявил революционную молодежь «Собакевичами и Ноздревыми нигилизма», узкими, резкими, ленивыми, невежественными, стремившимися ограбить его и взять «на дуван» его состояние. Он видел в них не представителей народа, а выходцев из передней, казармы, канцелярии и семинарии, внучат Скалозуба, собиравшегося дать фельдфебеля в Вольтеры. И он усматривает даже «проказу взяток» в требовании от него денег на «общее де-

ло», характеризуя это требование, как «домогательство денег» нахрапом, с пристрастием и угрозами под предлогом «общих дел», «как поползновение кормиться насчет службы и мстить кляузами и клеветами за отказ». В своем несправедливом озлоблении против молодежи Герцен доходил до того, что готов был оправдывать реакционные меры царского правительства характером несимпатичного ему революционного поколения. В письме к Бакунину он выражался про эту революционную молодежь так: «Это мошенники, оправдавшие своим сукинсынизмом меры правительства, невежды, на которых Катковы, Погодины, Аксаковы и пр. указывают пальцами. Это люди, которые обратили на меня втрое больше ненависти, чем на Скарятина, говоря просто, что они завидуют, что они хотели бы обобрать, и что они не могут переварить художественной стороны статей... Им будущего нет. Это меньшой венерический брат, который умрет, и на его могиле встретится старший брат с еще более меньшим» [1]).

И в то самое время, когда Герцен писал эти глубоко несправедливые строки о революционной молодежи, может быть, кое в чем и виноватой и слишком резкой, но по существу честной, здоровой и преданной народным интересам, в это самое время он дружески встречался и беседовал с Самариным и Погодиным!

Кашута, Маццини, Ледрю-Роллена и других представителей буржуазной и аристократической эмиграции Герцен зачисляет в «горные вершины», он ищет их знакомства, благоговеет перед ними и вообще смотрит на них снизу вверх. Зато к демократической массе эмиграции, прозванной им «хористами революции», Герцен относится свысока, замечая только ее неприглядные обывательские черты. Но с особенной ненавистью он третирует самую здоровую и самую демократическую часть тогдашней эмиграции, а именно немецких коммунистов, сгруппировавшихся вокруг Карла Маркса.

---

[1]) Просим, впрочем, не забывать, что эти резкие выражения употреблены Герценом в частном письме к его старому интимному другу Бакунину.

Самого Маркса он называет «неузнанным гением первой величины» и изображает его, как озлобленного интригана, мечтающего о гегемонии немецкой нации, а под шумок занимающегося одними сплетнями. Его последователей, «марксидов», он, вслед за политической полицией и своим другом К. Фогтом, называет «серной шайкой» (поджигателями) и ставит их так низко, что, по его деликатному выражению, «от серной шайки», как сами немцы (какие?) называют «марксидов», естественно и недалеко перейти к последним подонкам, к мутной гуще, которая оседает от континентальных толчков и потрясений на британских берегах и пуще всего в Лондоне». И дальше Герцен описывает нескольких полоумных чудаков, мошенников, проходимцев, попрошаек и шпионов!

А между тем, пока Герцен задавал пиры и возился с буржуазно-аристократическими «горными вершинами», Маркс и его друзья сближались с рабочими всех наций и залагали основы первого интернационала, открывая движение, которое должно было потрясти весь старый мир.

X.

Эти черты Герцена сказались и на его политической работе для «русского дела». Для Запада чуть ли не анархист, беспощадный в теории, отвергавший все тогдашние революционные учения, браковавший всех (известных ему) революционных деятелей, он для России выступил с крайне умеренной программой. Он не только не стремился к революции, но даже те реформы, которые он там рекомендовал, носили половинчатый и робкий характер. Как мы видели, он требовал освобождения крестьян с частью земли, но за выкуп, свободы печати и отмены телесных наказаний. Не только о социализме, но даже о буржуазном демократизме в его программе не было речи. Он не домогался не только низвержения самодержавия и установления хотя бы буржуазной республики, но он и не требовал даже ограничения самодержавия каким-нибудь народным представительством.

Скажут, что Герцен уже разочаровался в буржуазной республике, во всеобщем избирательном праве и т. п. Допустим. Но ведь еще больше он должен был разочароваться в самодержавии, в способности и готовности неограниченной монархии взять на себя защиту интересов трудящихся масс. Но в том-то и дело, что благодаря своему крайнему политическому оппортунизму и приспособленчеству Герцен подходил к русской жизни с совершенно другой меркой, чем к европейской. Здесь его проницательный ум пассовал, здесь он бросал свой острый критический скальпель. Для России исторические законы не были писаны. В Европе даже мелкий лавочник рисовался Герценом, как непримиримый враг пролетариата; в России он возлагал свои надежды на дворянство, думая, что оно способно и намерено выступить в роли ходатая за крестьянские интересы. Здесь сказалась принадлежность Герцена к старому миру, с которым он не мог порвать, несмотря на все свои крайние заявления в литературе.

Приступая к русской пропаганде, Герцен и не думал апеллировать к тем, чьи интересы он брался защищать. На активную и историческую роль народных масс, в частности, крестьянства, он совершенно не рассчитывал. Более того, революционным выступлениям народа он не сочувствовал, он боялся их, он выдвинул какую-то нелепую теорию мирного перехода к высшим формам общественной жизни, и это в самодержавной России! Герцен обращался к уму и совести господствующего класса, к либеральному дворянству и даже к царской династии.

Первая же листовка Герцена «Юрьев день» обращена к русскому дворянству. Здесь Герцен обращается к крепостникам, к плантаторам, к кнутобойцам с дружеской речью об общем (!) горе, об общем (!) стыде и с «братским советом». Герцен настолько не понимал сущности самодержавия, что пугал дворян и помещиков предстоящим усилением самодержавия в случае, если крестьяне будут освобождены не по инициативе дворян, а по царской милости. С другой стороны, он пугал их тем, что крестьяне могут освободиться по милости пугачевщины, а тогда погибнут, мол, культура

и образование. В виду этого Герцен предлагает дворянам предупредить большие бедствия, пока это в их воле. Когда встал вопрос об отмене телесных наказаний, Герцен опять-таки обращается не к секомым, а к секущим. Да и последним он предлагает не принять меры к законодательной отмене телесных наказаний, нет, он рекомендует им образовать «союз воздержания от телесных наказаний» и дать друг другу честное слово не сечь своих мужиков!

Известна та комическая переписка, которую Герцен открыл с императорской семьей. Еще при жизни Николая I Герцен в брошюре «Крещеная собственность» начинает свою идеализацию будущего императора Александра II, тогда еще наследника. «Они (закоренелые в рабстве слуги Николая) погубят Александра,—писал он,—и как жаль его. Жаль за его доброе сердце, за веру, которую мы в него имели, и за слезы, которые он несколько раз проливал». По вступлении на престол Александра II Герцен сейчас же обратился к нему с письмом, в котором уговаривал его дать свободу русскому слову и землю крестьянам. Во имя этого Герцен готов принести «огромную жертву», «стереться», замолчать, прекратить свою литературную и оппозиционную деятельность. «Разумеется,—писал Герцен царю,—моя хоругвь не ваша: я неисправимый социалист, Вы самодержавный император; но между Вашим знаменем и моим может быть одно общее, именно та любовь к народу, о которой шла речь!»

Этого смешного занятия Герцен не прекращал и впоследствии. Он взял на себя комичную роль непрошенного советчика и ментора, диктовавшего программу царизму и дававшего советы царю. На это глупое занятие он увлек и Огарева. 1 августа 1858 года оба друга обратились к Александру II с письмом, в котором уговаривали его не утверждать помещичьего проекта крестьянского освобождения. «Мы с ужасом прочли проекты центрального комитета. Остановитесь! Не утверждайте. Вы подпишете свой стыд и гибель России. Как честные люди, от искренней скорби, и от искреннего желания добра, ради всего святого умоляю Вас, не утверждайте! Одумайтесь!» И даже в 1860 году, когда и слепой мог видеть, что от самодержавия ничего путного ждать

нельзя, Герцен рекомендовал царю «проснуться» и уверял его, что друзья России могут еще быть друзьями Александра II. Более того, когда воспитателем наследника был назначен Гримм, то Герцен поспешил написать письмо императрице Марии Александровне, в котором давал ей советы по поводу воспитания наследника и между прочим протестовал против назначения Гримма за то, что он немец!

Особенно много порицаний вызвала статья Герцена «Через три года» («Колокол», № 9 от 15 февраля 1858 г.), в которой автор восхваляет Александра II за первые мероприятия по освобождению крестьян. Герцен называет царя «мощным деятелем, открывающим новую эру для России», наследником не только Николая I, но и декабристов, просит Александра II смотреть на издателей «Колокола» не как на врагов и т. п. Статья начинается и кончается неоднократно цитированной фразой: «Ты победил, Галилеянин!».

Защитники Герцена пытались сопоставить эту статью с статьей Н. Чернышевского «О новых условиях сельского быта», помещенной около того же времени в «Современнике» (1858 г., № 2) и также содержавшей похвальные выражения по адресу Александра II. Но у Чернышевского эта была минутная слабость, от которой он быстро отказался, перейдя к решительной критике правительственной и дворянской программы и к пропаганде социально-революционного переворота. У Герцена же это была система, которой он держался десять лет, не переставая проповедывать умеренно-либеральную программу и, с небольшими отличиями, поддерживая своим мощным голосом общий либерально-дворянский хор.

Неудивительно, что Герцен пользовался первое время большой популярностью в дворянских и даже придворных сферах. Для них он был человеком будирующим, взбалмошным, протестантом, но своим. Не мудрено, что он удостаивался похвальных отзывов от царских сановников, и в том числе и от князя Орлова, сына известного тогда шефа жандармов. Человек, который брал на себя в эмиграции роль «явного советника» дворянства и царя, который печатно выражал веру «в добрую душу Александра II и в его благородство»,—это был человек старого дворянского мира. Он

настолько не разбирался в происходившей тогда в России классовой борьбе, что в письме к И. С. Тургеневу («Еще вариация на старую тему», 1857 год) утверждал, что у него «одна цель» с тогдашними умеренными либералами, представлявшими буржуазные и дворянские интересы. И в высшей степени характерно, что свои «Голоса из России» он отдал в распоряжение представителей буржуазно-дворянского либерализма: так, первый номер целиком составлен из писаний Кавелина и Чичерина.

Замечательно, что эти умеренные либералы, российские друзья Герцена, все-таки находили тон его крайне революционным и неприличным. В своих письмах из России они всячески умоляли Герцена оставить династию в покое, не бранить Александра II, не затрагивать двор, ибо это, мол, единственная надежда отечества. Герцен прислушивался к этим гнусным нашептываниям, подавлял свое негодование, смягчал свою критику. Но наступил момент, когда и у Герцена открылись глаза. Назначение Панина, убежденного крепостника, на место руководителя крестьянской реформой по смерти Ростовцева, вызвало резкий протест Герцена. «Тон царствования изменился,—писал он,—с ним должны изменится все отношения» («Колокол», №№ 65—66). И, как бы оправдываясь перед своими московскими друзьями в этой перемене тона по отношению к Александру II, Герцен писал: «Нас упрекнуть нельзя. Мы держались до последней крайности, до открытой измены, до преступного назначения Панина, до самоуправства в деле Унковского и Европеуса *), до полицейского заговора, вследствие которого похватали студентов, профессора Коченовского, и мы не знаем кого еще» («Колокол», №№ 68—69).

Но даже здесь, разрывая с царизмом, Герцен обращается все-таки к дворянству, а не к крестьянству. По поводу назначения Панина он говорит: «Меньшинство дворянства должно сомкнуться и взять в свои руки дело освобождения крестьян». И какой совет дает он этому дворянскому меньшинству?

*) Тверские либеральные земцы, высланные административным порядком.

Активно выступить против плантаторской партии, против самодержавия? Ничего подобного. Он рекомендует оставить правительство «при его административных занятиях и дипломатических сплетнях», отойти от него прочь и «заняться своими делами». «Пусть оно стоит, как невская пирамида, храминой, в которой живет умерший». Герцен обращается к либеральному дворянству с таким советом: «Пойдемте в отставку, хозяйство расстроено, детей надобно воспитывать, делать их ручными из баричей. Ослабим правительство нашим неучастием». Итак, разрывая с правительством, Герцен советует оставить его в покое!

И даже, когда в России началось настоящее революционное движение, Герцен пытался доказать, что царская власть может стать во главе народного освобождения. В статье «Журналисты и террористы» (15 августа 1862 года) Герцен, полемизируя с революционной молодежью из «Молодой России», доказывает ей, что власть царская может стать властью народной, когда она поймет, что требования выдвигаются действительно народными массами. «Императорская власть у нас только власть, т.-е. сила, устройство, обзаведение, содержания в ней нет, обязанностей на ней не лежит, она может сделаться татарским ханатом и французским комитетом общественного спасения. Разве Пугачев не был императором Петром III? Николай под самодержавием разумел сочетание власти азиатского шаха и прусского вахмистра. Народ под земским царем представляет себе какую-то социальную республику, накрытую мономаховой шапкой. Стань (!) царская власть во главу народного дела, где найдется достаточная сила, могущая бороться с ней и ей противодействовать во имя своих корыстных интересов касты сословия.» После такого блестящего классового анализа российского самодержавия, Герцен советует молодежи «оставить революционную риторику и заняться делами», так как французы-де доказали, что «за перевод с феодально-монархического языка мест и чинов на римско-республиканский не стоит проливать не только крови, но и чернил».

Понятно, что настоящие революционеры относились чрезвычайно недоверчиво к этой стороне деятельности Герцена.

Идейным вождем тогдашней революционной молодежи был Н. Чернышевский. Чернышевский, стоявший на классовой точке зрения, прекрасно понимал, что если крестьянская реформа будет производиться помещиками и бюрократами, то она непременно будет искажена и осуществлена во вред народным интересам. Действительное освобождение крестьян и трудящихся вообще, на взгляд Чернышевского, возможно было только при условии их самостоятельной борьбы, наступление которой он всячески подготовлял своей литературной деятельностью, насколько такие тенденции можно было проводить в рамках тогдашней цензуры. Когда же крестьянская реформа отдана была в руки дворянства, Чернышевский сразу отнесся недоверчиво к такой постановке дела. В своем недоверии он доходил даже до нежелания реформ при отсутствии условий, гарантирующих их удовлетворительное проведение. Он готов был признать, что освобождение крестьян без земли было бы выгоднее для трудящихся масс, чем то половинчатое решение, которое вопрос получил в действительности.

Освобождение без земли Чернышевский готов был предпочесть потому, что это, по его мнению, было единственным средством расшевелить косную народную массу и возбудить в ней революционное движение, которое бы начисто смело старый режим и дало бы народу настоящую землю и волю.

В отличие от Герцена Чернышевский был революционер. Но он отличался от Герцена и в другом отношении. Как мы видели, Герцен обнаружил политическое безразличие: вопрос о политической реформе он готов был отложить на будущее, вопроса о самодержавии он по существу вовсе не затрагивал. Чернышевский же полагал, что радикальное решение крестьянского вопроса немыслимо без предварительного политического переворота, произведенного массами в своих собственных интересах. Чернышевский тоже был сторонником общинного землевладения, он также возлагал на общину большие надежды (хотя по этому вопросу он был бо́льшим реалистом, чем Герцен), но он подчеркивал, что община может развиться в высшую форму только при условии уничтожения политической власти господствующих классов. В первую

же голову Чернышевский считал необходимой решительную борьбу «с бесформенным чудовищем, все поглощающим Левиафаном», то-есть с самодержавием.

И в области крестьянского вопроса Герцен не высказывался за радикальное решение. Он не требовал предоставления крестьянам всей земли, а только тех участков, которыми они фактически владели. За исключением этого последнего пункта, программа Герцена по крестьянскому вопросу, как уже было отмечено в литературе, впоследствии сделалась программой правительства. И это неудивительно, потому что программа Герцена была в сущности программой либеральных помещиков и бюрократов. Чернышевский же стоял за радикальное решение крестьянского вопроса, который должен был совершенно покончить со старыми русскими порядками, уничтожить экономическое господство и политическую власть буржуазии и дворянства. Герцен никогда не высказывался за предоставление крестьянам всей земли, за экспроприацию землевладельцев; Чернышевский же стоял за передачу всей земли народу. Герцен никогда не высказывался против выкупа крестьянских земель, которая в сущности являлась уплатой помещику за личность крепостных рабов; Чернышевский же и тогдашние русские революционеры стояли за предоставление крестьянам земли без выкупа.

Таким образом по всем основным вопросам тогдашней русской жизни Герцен решительно расходился с мнением радикальных революционных кругов. Герцен был за мирное развитие—те за революцию. Герцен обращался к передовым кругам дворянства—те апеллировали к самодеятельности народных масс. Герцен по крестьянскому вопросу выдвигал умеренно-помещичью программу—те радикальную, революционную программу «земли и воли». Герцен умалчивал о политическом вопросе—те во главу всего ставили вопрос об уничтожении самодержавия и власти господствующих классов. И замечательно, что Герцен в своей оппортунистической тактике действовал совершенно сознательно. Объясняя свою политику, он подчеркивал, что он намерен говорить лишь о тех вопросах, которые выдвигаются самой жизнью. Но в действительности жизнь выдвигала разные

вопросы, а Герцен на часть из них вовсе закрывал глаза, другую же рассматривал с точки зрения умеренного либерализма.

В письмах к «Старому товарищу» (Бакунину), написанных в 1869 году, Герцен формулировал свою тактику в «Колоколе» в таких выражениях: «Я не верю в прежние революционные пути и стараюсь понять шаг людской в былом и настоящем для того, чтобы знать, как итти с ним в ногу, не отставая и не забегая в такую даль, в которую люди не пойдут за мной, не могут итти». Но его «люди» это были умеренные либералы и дворяне, в угоду которым он беспощадно урезывал не только свой социализм, но и демократизм. Держась на шаг впереди либеральных дворян, Герцен и не заметил, как очутился на сто шагов позади демократической массы.

Отношение радикалов к Герцену выражено в письме «Русского человека» (вероятно, Чернышевского), помещенном в 64 номере «Колокола». Автор протестует против того, что Герцен идеализирует самодержавие. «К концу царствования Николая I,—говорит он,— все люди, искренно и глубоко любящие Россию, пришли к убеждению, что только силой можно вырвать у царской власти человеческие права для народа, что только те права прочны, которые завоеваны». От Герцена ждали, что он станет обличителем царского гнета, что он раскроет перед Россией источник ее вековых бедствий. И что же? «Вместо грозных обличений неправды, с берегов Темзы несутся к нам гимны Александру II, его супруге (столь пекущейся о любезном православии с отцом Бажановым)... Помещики-либералы, либералы-профессора, литераторы-либералы убаюкивают вас надеждами на прогрессивные стремления нашего правительства... Вы, смущенные голосами либералов-бар, вы после первых номеров «Колокола» переменили тон. Вы заговорили благосклонно об августейшей фамилии;... зато с особенной яростью напали на Орловых, Паниных, Закревских: в них беда, они мешают Александру II!.. Он желает России добра, но злодеи окружающие мешают ему! И вот вы—автор «С того берега» и «Писем из Италии», поете ту же песню, которая сотни лет губит Россию». Автор письма подчеркивает,

что либералы, по указке которых действует Герцен,—враги крестьян, что они готовы отнять у крестьян землю, положить за наделы громадную цену, на время сохранить даже крепостное право в виде переходного состояния... Он советует Герцену разорвать с этим гнилым российским либерализмом и не подмазываться к правительству. Он напоминает ему, что сближение с двором погубило Пушкина, и прибавляет: «Как ни чисты ваши побуждения, но я уверен, придет время, вы пожалеете о своем снисхождении к августейшему дому». Он рекомендует Герцену не обманываться неосновательными надеждами и не вводить в заблуждение других, не отнимать энергии у людей, которым она нужна. Только революция может спасти Россию. Другого пути нет. Автор кончает свое письмо к Герцену следующими словами: «Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, переменитe же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит в набат! К топору зовите Русь. Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей. Не вам ее поддерживать».

Ответ Герцена на письмо крайне слаб. Он пытается уверить, что расходится с автором письма не в идее, не в принципе, не в целях, а только в средствах, в образе действий. Совершенно не касаясь существа вопроса, наоборот, повторяя, что в последнее время что-нибудь путное для России сделал только государь, Герцен подчеркивает свое отвращение к кровавым переворотам и наивно спрашивает, где же в самодержавной России та среда, которую надо вырубать топором?

Бакунин, старый друг Герцена, также выступил против его политического оппортунизма. В своих письмах к Герцену и Огареву (который тогда еще шел рука об руку с первым) Бакунин решительно высказывается против их тактики в «Колоколе» и, в частности, против писем государю, способных лишь посеять смуту в умах. Он указывает на то, что Герцен испугался воя продажных российских журналистов, вдохновляемых помещиками-крепостниками и поддерживаемых обанкротившимися друзьями Герцена, учениками Белинского

и Грановского. Он подчеркивает, что прежняя популярность Герцена объясняется его приспособлением к предрассудкам и интересам господствующих классов, и смеется над его мнимой «практичностью», которая на деле оказалась сплошным политическим промахом.

Бакунин советует Герцену прежде всего определить, где его публика, к кому он хочет обращаться. Он советует ему «плюнуть раз навсегда на всю свою старую публику и, обернувшись к ней спиной, обратиться к публике новой, молодой, едино способной понять (Герцена) искренно, широко и с волею дела». Бакунин указывает Герцену на учеников Чернышевского и Добролюбова, на Базаровых, на нигилистов, словом, на революционную молодежь, заговорить с ними настоящим революционным и социалистическим языком, но говорить им всю правду, до конца. Эта публика не только не отстанет от своих учителей, но, напротив, в случае нужды, подтолкнет их вперед.

В ответ на вышеприведенное письмо Герцена по поводу Серно-Соловьевича Бакунин писал ему: «Твое письмо испугало меня не за Серно-Соловьевича, а за тебя. В твоей злости против него слышится что-то старческое. Я готов верить, что Серно-Соловьевич написал против тебя скверную пасквиль, и что твое негодование против него справедливо. Но ты ругаешь не одного его и даже не одних его женевских однолетников-эмигрантов, на все молодое поколение кладешь ты страшное проклятие, говоря, как будто бы это могло служить для нас аргументом!—что Погодины, Катковы, Аксаковы и Тургеневы указывают на них, т.-е. на молодых людей, принадлежащих к этому поколению, пальцами прибавляя даже, что они сукиносынством своим оправдывают меры правительства! Кто ж это они? Разумеется, не одни только женевские эмигранты, которые так микроскопически малочисленны, что правительству незачем бы было принимать крупных мер, а целое юное поколение, которое ты клеймишь, называя его венерическим младшим братом, осужденным на бесплодную смерть в ожидании еще младшего и более путного поколения».

«Нет, Герцен, каковы бы ни были недостатки настоящего

молодого поколения, оно чрезмерно выше Катковых и Погодиных, твоих Аксаковых и Тургеневых,—так выше, что указывание на него пальцем всех этих блудных стариков служит ему в честь, а не в бесчестье,—и ничто в мире кроме самой, естественно и по необходимости гнусной природы правительства не может оправдать гнусных мер наших правителей. Десять, пять лет тому назад, когда ты смело глядел и вел вперед, не заботясь о том, что будут говорить люди близорукого разума и гнилой официальной или полуофициальной практики, и не увлекаясь мечтой о невозможном полуосуществлении сегодня или завтра, а, главное, не дозволяя ослеплять себя блеском лживых и притворных исполнений,—ты не произнес бы таких страшных, для тебя страшных, потому что старческих слов»....

Допуская, что в отдельных представителях молодого поколения могут встречаться отрицательные черты, Бакунин продолжает: «Но все это не должно заслонять от нас серьезных, да, великих качеств нашего молодого поколения: в нем не оранжерейная, не искусственная и не рефлективная только, а настоящая страсть равенства, труда, справедливости, свободы и разума. Из-за этой страсти десятки из них уже пошли не смерть и сотни в Сибирь. Между ними, как всегда и везде, много пустых хвастунов и фразеров, но есть и герои, герои без фраз или только с фразою клеветы на себя или крайностью щеголяющего отрицания. Нет, воля твоя, Герцен, эти неумытые, неуклюжие и часто весьма неудобные пионеры новой правды и новой жизни в миллион раз выше стоят всех твоих приличных покойников....

Не старей, Герцен, в старости нет прока, не становись доктринером а ла Жан-Жак Руссо, оставайся нашим могучим Вольтером. В этом твоя истина и потому и сила твоя. Не старей, Герцен, и не проклинай молодых. Смейся над ними, когда они смешны, наказывай и брани, когда они виноваты, но преклоняйся почтительно перед их честным трудом и стремлением, перед их подвигами и жертвами».

Но эти советы не нашли отклика в душе Герцена. Он продолжал итти своим путем и так и умер, не примирившись с молодым революционным поколением.

Таковы те отрицательные черты в деятельности Герцена, которые дали основание нашим буржуазным либералам зачислить его в свой стан. Особенно старался в этом отношении кадетский златоуст г. Родичев, всячески силившийся искупаться в лучах герценевского солнца и выдать его за чистокровного «кадета». Но эти смешные попытки, цеплявшиеся за то, что в Герцене было от старого мира, представляют покушение с негодными средствами. Да, в Герцене было много такого, что ставило его по временам во враждебное отношение к борьбе социализма против буржуазии, но не это главное и типичное в Герцене.

Противно видеть, как эту великую и скорбную фигуру искателя истины, ненавистника мещанства и пролагателя путей для социалистических поколений стараются захватать нечистые руки, как его пытаются объявить своим люди, враждебные ему по существу. Эти господа стараются прицепиться к тому, что было в Герцене недостатком, слабостью, временным уклонением, но они органически чужды тем сторонам Герцена, которые сделали из него бесстрашного искателя истины, непримиримого врага буржуазной цивилизации, построенной на эксплоатации, угнетении и лицемерии. Они примазываются к тому, что осталось в Герцене от ветхого Адама, и стараются затушевать то, что составляло основную природу Герцена и приобщало его к движению пролетариата. Но несмотря на все временные ошибки и уклонения Герцена, мы не отдадим этим жрецам умеренности и аккуратности нашего мятущегося Искандера. Он наш со всеми своими уклонениями и слабостями.

XI.

В самом деле, разве не он сказал, что «для народа все правительства до сих пор были деспотизмом?» Не он разоблачил фальшь буржуазных свобод и республики, которая явила себя народу увеличением налогов, массовыми расправами, ссылками без суда и запрещением работникам въезда в Париж? Не он выжег вечное клеймо на медном лбу буржуазии и

навеки пригвоздил мещанство к позорному столбу за бесчеловечную расправу с пролетариатом, когда последний восстал за свою свободу? Не он дал миру незабываемое описание ужасных зверств, совершенных героями «порядка» во время июньской бойни, которую они устроили обманутому ими рабочему классу? Не он, отринув буржуазную цивилизацию, заявил, что он ненавидит все в этом прогнившем мире, кроме горького плача задавленного пролетариата и его героических друзей? Не он сказал, что «без социализма нет революции. Без него есть только реакция—монархическая ли, демагогическая, консервативная, католическая или республиканская?» Не он ли возлагал «последнюю надежду» на французских пролетариев и увлеченных ими крестьян? Не он ли, проклявший старый буржуазный мир, прибавлял:«Насколько вся образованная часть Франции развращена, гнусна и не имеет никакого будущего, настолько велики пролетарии и даже крестьянин» (начинающий просыпаться в социальной борьбе)? Не он ли, наконец, не уставал повторять, что будущее принадлежит коммунизму, что предстоящая революция будет неизбежно коммунистической? Насмехаясь над революционерами старой школы за то, что они «хотят переправлять и улучшать существующее, оставаясь на прежней почве», Герцен противопоставляет им точку зрения революционного социализма, отвергающего буржуазный режим вплоть до буржуазной «демократии».

«Социализм,—говорит он,—отрицает полнейшим образом весь старый порядок вещей с его правом и представительством, с его церковью и судом, с его гражданским и уголовным кодексом,—вполне отрицает так, как христиане первых веков отрицали мир римский.

Такое отрицание—не каприз больного воображения, не личный вопль человека, оскорбленного обществом, а смертный приговор ему, предчувствие конца, сознание болезни, влекущей дряхлый мир к гибели и возрождению в иных формах. Современное Государственное устройство падет под протестом социализма; силы его истощены: что оно могло дать, то оно дало, теперь оно поддерживается на

счет собственной крови и плоти, оно не в состоянии ни дальше развиваться, ни остановить развитие; ему нечего ни сказать, ни делать, и оно свело всю деятельность на консерватизм, на отстаивание своего места».

Мы видим, что после разгрома движений 1848—49 годов Герцен готов был поставить крест над Европой и считать революцию совершенно подавленной. Но в выпадавшие у него светлые промежутки он на время отбрасывал свое безысходное отчаяние и давал место новым надеждам. Такой характер носят, напр., его «Письма из Франции и Италии» последнего периода (1851 года).

Революция не остановилась, говорит Герцен (и эти слова его сильно напоминают соответствующие места из работ Маркса, также посвященные подведению итогов революции 1848—49 гг.). Но вместо неосторожных попыток и заговоров работник думает крепкую думу и ищет связи не с профессиональными революционерами (забракованного Герценом старого якобинского типа), не с редакторами журналов, а с крестьянами (подчеркнуто у Герцена). С тех пор, как грубая рука полиции закрыла клубы и избирательные собрания, рабочие перенесли свои трибуны в деревни. В груди крестьянина собирается тяжелая буря. Он ничего не знает ни о тексте конституции, ни о разделении властей и других политических тонкостях, но он мрачно посматривает на богатого собственника, на нотариуса, на ростовщика и видит, что сколько ни работай, а барыш идет в другие руки. И крестьянин начинает прислушиваться к проповеди пролетария. Когда он его дослушает и хорошенько поймет со своей упорной твердостью хлебопашца, со своей основательной прочностью во всяком деле, тогда он соберет свои силы и сотрет с лица земли старое общественное устройство. И это,—прибавляет Герцен,—будет настоящая революция народных масс.

К этой мысли, что союз пролетариата и трудового крестьянства уничтожит прогнившее здание буржуазного владычества, Герцен возвращается неоднократно. И он предсказывает, что грядущая народная революция будет иметь коммунистический характер. При

этом он рассуждает так, как будто предвидел появление социал-предателей.

Всего вероятнее,—говорит он,—что действительная борьба богатого меньшинства и беднейшего большинства будет иметь характер резко коммунистический.

«Слово это пугает старых революционеров так, как слово «якобинец» пугало вольнодумов-дворян и слово «иезуит» полукатоликов. Они проповедывали всю жизнь равенство и братство, теперь они хотят отпрянуть, когда народ берет их за слово (т.-е. ловит их на слове), и все еще воображают, что они идут с ними за-одно и представляют во всей чистоте его стремления».

«Нет,—говорит Герцен про мелкобуржуазных демократов,—они не представители трудящихся масс, а выходцы из старого буржуазного мира».

«В сущности они и не с народом и не из него,—они из книг, из школ, из римских преданий, из образованного меньшинства, из того общественного устройства, которое развилось против народа и которое должно погибнуть для того, чтобы народ был свободен... Они говорят слова, потрясавшие некогда сердца, не замечая, что они уже давно задвинуты другими словами... Их средства устарели, их знамена истаскались и не всегда в боях, а больше на банкетах и демонстрациях».

Дав такую верную и убийственную характеристику старозаветным революционерам, испугавшимся самостоятельного выступления коммунистического пролетариата, Герцен отмечает, что их бьют с двух сторон (и со стороны рабочих, и со стороны буржуазии), и обращается к ним с увещанием: «Пора бы, кажется, остановиться и призадуматься, изучить получше современность и перестать с легкомысленною суетностью уверять себя и других в фактах, которых нет, и отворачиваться от тех, которые есть, да нам не нравятся».

Государственный переворот, произведенный 2 декабря 1851 г. Луи Бонапартом и уничтоживший во Франции республику, исторг у Герцена печальный крик: «Да здравствует смерть!» Хотя после июньских дней 1848 г. уже ясно было, что республике нанесена смертельная рана, все же

удар был тяжел. Но Герцен, как бы противореча тому, что он писал в других местах, советует не поддаваться унынию и в самых мрачных явлениях современности постараться разглядеть ростки грядущего возрождения. Он предрекает буржуазной Европе, что, задушив пролетариат, она подготовила почву для будущих внешних войн, которые кончатся ожесточенной гражданской войной, и в этой войне погибнет буржуазное общество. При этом он возвышается до грозных пророчеств, в которых его ясновидящему взору как бы открываются картины тех катастроф, которые капиталистический мир действительно пережил во время всемирной империалистической войны и продолжает переживать на наших глазах.

«Вся Европа выйдет из фуг своих, будет втянута в общий разгром; пределы стран изменятся, народы соединятся другими группами, национальности будут сломлены и оскорблены. Города, взятые приступом, ограбленные, обеднеют, образование падет, фабрики остановятся, в деревнях будет пусто, земля останется без рук, как после Тридцатилетней войны. Усталые, заморенные народы покорятся всему, военный деспотизм заменит всякую законность и всякое управление. Тогда победители начнут драку за добычу. Испуганная цивилизация, индустрия побегут в Англию, в Америку [1]), унося с собой от гибели—кто деньги, кто науку, кто начатый труд. Из Европы сделается нечто в роде Богемии после гуссистов.

И тут, на краю гибели и бедствий начнется другая война, домашняя—своя расправа неимущих с имущими».

Напрасно удивляться, негодовать и проклинать. Исхода нет. Или буржуазный «порядок» на кладбище, или красный призрак. И именно торжество буржуазной диктатуры неизбежно вызовет коммунистическую революцию. Если же этого не будет, то тогда действительно нужно будет признать, что в Европе умерли не только правительства и буржуазные общественные формы, но и народы.

---

[1]) Герцен думал, что эти страны не будут втянуты в общий водоворот. Действительность превзошла его мрачные ожидания.

«И чем,—спрашивает Герцен,—эта война (неимущих против имущих) несправедливее войны мещан против дворян, либерализма против феодальной и монастырской собственности?» И дворянство и буржуазия создали свое положение с помощью насилия, благодаря правительственной поддержке. Пролетариат найдет свое правительство, которое поможет ему.

«Вооруженный коммунизм приподнял слегка полушутя свою голову в южных департаментах [1]), он едва взял несколько аккордов, но характер своей музыки заявил. Пролетарий будет мерить в ту же меру, в которую ему мерили. Коммунизм пронесется бурно, страшно, кроваво, несправедливо, быстро. Среди грома и молний, при зареве горящих дворцов, на развалинах фабрик и присутственных мест, явится новый декалог (десять заповедей), крупно набросанные черты нового символа веры.

Они сочетуются на тысячу ладов с историческим бытом, но как бы ни сочетались они,—основной тон будет принадлежать социализму. Современный государственный быт с своей цивилизацией погибнут, будут, как учтиво выражается Прудон, ликвидированы.

Вам жаль цивилизации? Жаль ее и мне. Но ее не жаль массам, которым она ничего не дала, кроме слез, нужды, невежества и унижения».

Здесь Герцен платит дань старым предрассудкам, воображая, что господство пролетариата будет гибелью цивилизации. Тут проявляется его буржуазная шуйца. Но этот инстинктивный страх аристократа перед грядущим грозным строителем новой жизни не мешал ему в другом месте заявить, что рабочее население парижских предместий Сент-Антуан и Сен-Марсо и лионского предместья «Красного Креста», где происходили знаменитые восстания рабочих в 1831 г. и 1834 г., «истинные надежды истории и человечества». И никто, как Герцен, провозгласил, что «переходя из старого мира в новый, ничего нельзя взять с собою».

[1]) Герцен имеет в виду разрозненные восстания рабочих и особенно крестьян на юго-востоке Франции в виде протеста против декабрьского переворота Луи-Бонапарта.

Не будет миру свободы,—говорил он в книге «С того берега,—пока все религиозное, политическое не превратится в человеческое, простое, подлежащее критике и отрицанию. Пора потребовать к суду республику, законодательство, представительство, все понятия о гражданине и его отношениях к другим и государству, словом, все фетиши буржуазной демократии. «Уступок делать некому,—смело заявляет Герцен, низвергая своих старых идолов:—трехцветное знамя уступок слишком замарано,— оно долго не просохнет от июньской крови. И кого, в самом деле, щадить? Все элементы разрушающиеся являются во всей жалкой нелепости, во всем отвратительном безумии своем. Что вы уважаете? Народное правительство, что ли? Кого вам жаль? Париж.»

И Герцен беспощадно клеймит буржуазную республику и учредилку вплоть до ее левого, «революционного» крыла.

«Три месяца люди, избранные всеобщей подачей голосов, люди выбранные всей земли французской, ничего не делали и вдруг стали во весь рост, чтобы показать миру зрелище невиданное—восьмисот человек, действующих, как один злодей, как один изверг. Кровь лилась реками, а они не нашли слова любви, примирения; все великодушное, человеческое покрывалось воплем мести и негодования, голос умирающего Афра [1]) не мог тронуть этого многоголового Калигулу, этого бурбона, размененного на медные гроши; они прижали к сердцу национальную гвардию, расстреливавшую безоруженных. Сенар благословлял Кавеньяка [2]), и Кавеньяк умильно плакал, исполнив все злодейства, указанные адвокатским пальцем представителей. А грозное меньшинство притаилось; Гора [3]) скрылась за облаками, довольная, что ее не расстреляли, не сгноили в подвалах; молча смотрела она, как обирают оружие у граждан, как декретируют де-

[1]) Парижский архиепископ, явившийся на баррикады примирять сражавшихся и смертельно раненый пулею солдата.

[2]) Сенар—президент учредилки, генерал Кавеньяк—главнокомандующий правительственной армией и усмиритель парижских рабочих в июне 1848 г.

[3]) Название парламентской крайней левой.

портацию (ссылку), как сажают в тюрьму людей за все на свете,—за то, что они не стреляли в своих братий.

Убийство в эти страшные дни сделалось обязанностью; человек, не омочивший себе рук в пролетарской крови, становился подозрителен для мещан. По крайней мере большинство имело твердость быть злодеем. А эти жалкие, презрительные друзья народа, риторы, пустые сердца!.. Один лишь мужественный плач, одно великое негодование и раздалось и то вне камеры [1]). Мрачное проклятие старца Ламеннэ [2]) останется на голове бездушных каннибалов и всего ярче выступит на лбу малодушных, которые, произнеся слово «республика», испугались смысла его».

Но довольно! Если бы мы вздумали приводить все выдержки из произведений Герцена, где он клеймит буржуазный мир и солидаризуется с пролетариатом, нам пришлось бы написать толстую книгу. Но уже из тех немногих цитат, которые мы привели, ясно, насколько смешны и тщетны потуги «кадетов» зачислить Герцена по своему ведомству.

И по отношению к России Герцен не всегда удерживался на своей умеренно-либеральной и мирной позиции. Отчасти под влиянием Чернышевского и Бакунина, отчасти под влиянием уроков русской жизни, Герцен иногда заговаривал другим языком. В статье «Исполин просыпается» («Колокол» от 1 ноября 1861 г.) Герцен, по поводу студенческих волнений и закрытия университета, обратился к молодежи с призывом итти в народ. «Куда же вам деться, юноши, от которых заперли науку?.. Сказать вам, куда? Прислушайтесь—благо тьма не мешает слушать со всех сторон огромной родины нашей: с Дона и Урала, с Волги и Днепра растет стон, поднимается ропот—это начальный рев морской волны, которая закипает, чреватая бурями, после страшно утомительного штиля. В народ! К народу!—вот ваше место, изгнанники науки, покажите этим бистромам, что из вас выйдут не подъячие, а воины, но не безрод-

---

[1]) Камера—палата представителей, Учредилка (Национальное Собрание 1848 г.).

[2]) Бывший аббат, либеральный католик, писатель-демократ.

ные наемники, а воины народа русского. Хвала вам! вы начинаете новую эпоху, вы поняли, что время шептания, дальних намеков, запрещенных книг проходит. Вы тайно еще печатаете дома, но явно протестуете. Хвала вам, меньшие братья, и наше дальнее благословение! О, если б вы знали, как билось сердце, как слезы готовы были литься, когда мы читали о студенческом дне в Петербурге!»

В этих строках встает перед нами во весь рост настоящий, великий, вечный Герцен, Герцен юной демократической России. Подобно древнему Антею, он снова обретал свою мощь и пыл, как только прикасался к свежей почве новых демократических слоев. В № 221 «Колокола» от 1 июня 1866 г. Герцен, под впечатлением известий о репрессиях после каракозовского покушения на царя и о гнусном поведении добровольных шпионов из «либерального общества», писал: «Перед этим письмом мы остановились с какой-то бесконечной, жгучей болью... Несчастный народ, в котором могла зародиться и назреть такая среда, жалкая и уродская, которая безнаказанно учит палачей, рукоплещет им и натравливает их... У нас была готова статья, но, прочитавши письмо, мы ее разорвали: все слабо, бедно, слов недостает, мы это глубоко чувствуем. Но нельзя же и руки сложить в праздном озлоблении, нельзя же замолчать с проклятием на губах. Нет, это была бы измена всей нашей жизни, а ее немного впереди. Мы остаток ее употребим на обличение перед миром исторического преступления, совершающегося в России, и на подкрепление и утешение несчастного молодого поколения, идущего на мученичество за свою святую любовь к истине, за свою веру в Россию. Мы, старики, станем у изголовья гонимых, отирая пятна клеветы и благословляя погибающих провозвестников будущей России».

Вот какие трогательные ноты Герцен находил в своем сердце, когда говорил о молодом поколении, как друг и товарищ. К сожалению, он недолго удержался на этой позиции и, как мы видели, вступил с революционной молодежью в борьбу. Однако, Герцен был одним из тех, кто способствовал выработке взглядов русских социалистов-народников, и один из первых дал лозунг итти в народ для пропаганды и организации.

Подкупает также глубокая вера Герцена в великое будущее русского народа. Посреди всеобщего крушения всех его верований и надежд Герцен сохранил пламенную веру в то, что юный русский народ, силы которого не истощены и не развращены буржуазным влиянием, когда-либо явит изумленному миру невиданный пример свободного устройства на социалистических началах. Пусть история пошла не так, как думал Герцен, все же по существу, в общем и целом, его заветные чаяния оправдались. Пусть социальный переворот наступил в России не так скоро, как надеялся Герцен, но он все же наступил, и притом действительно в России раньше, чем в других странах. Правда, произведен он был не теми силами, на которые рассчитывал Герцен; правда, он произошел именно благодаря тому, что Россия прошла через капиталистический фазис, который, по мнению Герцена, она могла якобы обойти; правда, главную роль социальной революции сыграла не община и не артель, а пролетариат, самое появление и развитие которого в России Герцен считал мало вероятным,—но в основном предвидение Герцена оправдалось. И его слова, что «социализмом революционная идея у нас сделается народною», что «Россия никогда не будет золотой серединой» (т.-е. буржуазно-умеренной), что «она не восстанет только для того, чтобы отделаться от царя Николая и получить в награду представителей-царей, судей-императоров, полицию-деспотов»,—оказались вещим пророчеством. Когда русский народ, наконец, восстал, он, низвергнув царя, поспешил сдать в архив и буржуазию [1]).

И с неменьшим правом, чем Некрасов, Герцен мог сказать русскому народу:

За каплю крови, общую с народом,
Мои грехи, о, родина, прости.

И родина давно простила все прегрешения вольные и невольные мятущемуся Искандеру. Она не смеется, а жалеет,

[1]) Даже его ироническое замечание по поводу страхов российской реакции накануне освобождения крестьян, что «Петербург провозгласит республику в Преображенских казармах и Москва—демократический и социальный Кремль»,—даже и оно оправдалось всерьез. Ирония истории глубже, чем ирония даже самых остроумных и парадоксальных литераторов.

что жизнь его была сплошной цепью разочарований, душевных страданий, что его «детские надежды» и «отроческие упования» завяли под буйными ветрами исторической бури, ибо у них не было прочных и глубоких корней. Подобно ветхозаветному Моисею, Герцен был обречен на многолетнее блуждание по пустыне, усеянной обломками былых надежд и могилами дорогих покойников, в страдальческих поисках недававшейся ему истины. И грустное впечатление производит его элегия у порога обетованной страны, в которую ни ему, ни его современникам не суждено было войти.

«Это начало борьбы..., это начало войны. Конца ее мы не увидим... вряд увидят ли младшие из юных. Туго развивается история, упорно защищается отходящее, медленно смутно нарождается водворяемое..., но самый процесс, самая драма исторической беременности полна поэзией. Всякому поколению свое, мы не ропщем на наш пай, мы дожили не только до красной полосы на Востоке, но и до того, что враги наши ее видят. Чего же больше ждать от жизни, особенно, когда человек, положа руку на грудь, с чистой совестью может сказать: и я участвовал в этой гигантской борьбе, и я внес в нее свою лепту?»

Это правда. Герцен с юных лет принял участие в гигантской борьбе за освобождение человечества от всех опутавших его цепей политических, экономических и духовных, и внес в эту борьбу свою далеко не малоценную лепту. Несмотря на все свои блуждания и ошибки, он всегда стремился к защите страждущих и к освобождению угнетенных. Вся жизнь Герцена, вся многогранная и красочная деятельность его, его душевные терзания, неустанное горение его духа, чистота его стремлений, его широкая человечность в лучшем смысле этого слова дают ему право на почетное место в социалистическом пантеоне. После смерти Герцена Интернационал в своем органе «Эгалите» (Равенство) заявил, что не забудет Герцена, как и Герцен не забывал о своей связи с ним. Эта духовная связь все же существовала, несмотря на то, что Герцен, человек сороковых годов, плохо понимал характер нового рабочего движения и в последние годы совершенно отошел от активного участия в социальной борьбе.

Смерть примиряет. Если при жизни Герцен иногда оказывался не в том лагере, в котором находились Маркс, Чернышевский, Добролюбов и Бакунин, то нам с исторического расстояния видно, что цель у него была общая с ними, что ненависть и любовь их в общем совпадали, хотя Герцену и не пришлось стать на верную дорогу. Никогда ни одной фракции буржуазии, царство которой Герцен ненавидел всеми силами своей души, не удастся зачислить мятущегося искателя истины в ряды своих. Герцен, среди старой цивилизации сочувствовавший лишь страданиям пролетария и угнетенного крестьянина, принадлежит рабочему классу, и об этом мы никогда не забудем, как бы отрицательно мы ни относились к отдельным его заявлениям и выступлениям.

Особенно же принадлежит Герцен к русским трудящимся массам, историческую роль которых он предугадал и которым поклонялся, как «неведомому богу». Скоро памятники ему воздвигнутся во всех городах и крупных поселках освободившейся России, а прах его будет перенесен в красную Москву, где он родился, созрел и отроком дал клятву посвятить все свои силы борьбе за свободу русского народа.

Ю. Стеклов.

Государств. публичная историческая библиотека
ПОГАШЕНО
2437(4)/1516

Цена 15 руб.

Никем из книгопродавцев указанная на книге цена не может быть повышена.

Государственное Издательство.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.
Москва.—1920.